

О. УЭДСЛИ

МИНДАЛЬ  
ЦВЕТЁТ  
ПЛАМЯ



Оливия Уэдсли – известная английская романистка, культивировавшая жанр любовного романа. Творчество ее, рассчитанное на массового читателя, насыщено мелодраматизмом, отличается глубиной проникновения в женскую психологию.

---

- [Оливия Уэдсли](#)
    - [Книга первая](#)
      - [ГЛАВА I](#)
      - [ГЛАВА II](#)
      - [ГЛАВА III](#)
      - [ГЛАВА IV](#)
      - [ГЛАВА V](#)
      - [ГЛАВА VI](#)
      - [ГЛАВА VII](#)
      - [ГЛАВА VIII](#)
      - [ГЛАВА IX](#)
      - [ГЛАВА X](#)
      - [ГЛАВА XI](#)
    - [Книга вторая](#)
      - [ГЛАВА I](#)
      - [ГЛАВА II](#)
      - [ГЛАВА III](#)
      - [ГЛАВА IV](#)
      - [ГЛАВА V](#)
      - [ГЛАВА VI](#)
      - [ГЛАВА VII](#)
      - [ГЛАВА VIII](#)
      - [ГЛАВА IX](#)
      - [ГЛАВА X](#)
      - [ГЛАВА XI](#)
      - [ГЛАВА XII](#)
-

**Оливия Уэдсли**  
**Миндаль цветет**



Окончив завтрак, который он ел с большим удовольствием, выпив чашку чудного кофе и поглотив немало булочек с вареньем, Рексфорд вышел из-под украшенного белыми и розовыми кистями тента посмотреть, какова погода.

А день был прекрасный – солнце сияло, небо было синее, воздух кристаллически прозрачный, и тени на фоне ярко-белых мест, освещенных солнцем, казались точно выгравированными. В такой день, по мнению Рексфорда, нужно было что-нибудь предпринять. Он вообще считал, что каждый день нужно было что-нибудь делать, а в городе в особенности: но делать что-нибудь в городе означало просто уехать из него куда-нибудь на воздух. Правда, Паго нельзя было назвать настоящим городом, но все-таки это было место, в котором были улицы, а следовательно, самое лучшее было поскорее покинуть его пределы.

Рексфорд вынул маленькую зажигалку, закурил папиросу и по привычке стал глядеть по сторонам, не увидит ли он где-нибудь собаки, и тут в его воображении вырисовалась картина его собственного двора и фигура псая с его любимым терьером Ником.

Не имея желания продолжать прогулку и все еще вспоминая Ника с его замечательными янтарными глазами и безукоризненным сложением, Рексфорд вернулся в отель и поднялся в комнату жены. Он шел, слегка покачивая плечами, той свободной походкой, которая всегда отличает атлета, и, когда, постучавшись, он остановился в ожидании, его фигура на фоне белой крашеной двери казалась очень большой и громоздкой.

Франческа пила шоколад в постели, читая полученные на имя Рексфорда письма и строя для него планы на предстоящий день.

Он поцеловал ее чудные волосы, перевязанные сзади широкой лентой с бантом, как у маленькой девочки, осторожно опустился на хрупкий плетеный стул, который заскрипел под его тяжестью, вытянулся, улыбнулся Франческе и сказал:

– Ну, хорошо, как же насчет этого?

Он задавал тот же вопрос каждое утро в течение всего путешествия, и Франческа, предупреждая его желания, всегда позволяла ему водить ее в такие места, которые, по ее мнению, больше всего ему нравились, где он мог бы плавать, ловить рыбу и стрелять или, по крайней мере, смотреть, как другие занимаются тем или иным спортом.

Друзья Франчески, претендовавшие на «полную откровенность» с нею, – которая, в сущности, является не чем иным, как самой докучливой назойливостью, – часто говорили ей, что Тони у нее под башмаком.

Слушая их, Франческа только улыбалась, а передавая их замечания Тони, смеялась громко.

На самом деле Франческа любила своего мужа. Она полюбила его сразу; вполне сознавая, что он был не слишком «боек» и скорее даже немного тяжеловесен, она тем не менее любила в нем эту тяжеловесность так же, как любила его золотистые волосы, хорошо приглаженные утром и перед обедом, но уже менее послушные к вечеру, так же, как любила его голубые глаза, упрямый мальчишеский рот и всю его громоздкую, сильную фигуру.

При слабом свете комнаты, в своем легком, белом костюме, он казался в это утро еще более громоздким, чем когда-либо.

Раздался стук в дверь, и, весь сияя от удовольствия, в комнату вошел слуга с большим букетом желтых роз. Он разразился целым потоком красноречия, описывал свои похождения в поисках за этими розами, их необыкновенную красоту, а также красоту благородной сеньоры и щедрость ее мужа.

Рексфорд приподнял одну бровь, дал слуге пять песет и поблагодарил его. Затем, взяв у

него розы, он передал их Франческе.

– Я боялся, что мне не удастся достать именно таких... желтых; ведь другие... это совсем не то!

Он пересел на край кровати и обнял жену. Оба засмеялись.

– Какая была бы трагедия, если бы этот малый не сумел их достать, не правда ли, дорогая, в такой день, как сегодня?

Франческа притянула его к себе своей белой рукой и поцеловала.

– Тебе приходят в голову чудесные мысли, Тони, – нежно сказала она, прижимая его лицо к своему.

Рексфорд просиял.

– О нет, – счастливым голосом уверенного человека сказал он, – но когда имеешь счастье быть мужем такой прелести, как ты, моя дорогая, нельзя забывать. Я и посейчас помню, как я нервничал, ожидая тебя в храме. Мне показалось это вечностью, и когда ты, наконец, появилась, у тебя был вид такого младенчика, мне стало стыдно и даже как-то страшно, как будто я совсем не имел права на тебя.

Он выпрямился, закурил папиросу и передал ее Франческе, затем, закулив другую для себя, добавил:

– Ты знаешь, дорогая, я чувствую себя так хорошо, сидя с тобою, как десять лет назад. Но мне кажется, ты что-то молчалива, родная; случилось что-нибудь?

Франческа засмеялась отрывистым смешком: – Ничего, честное слово. Но ты понимаешь, что жена не может не быть тронута таким подношением в десятую годовщину свадьбы. Другие мужья, дорогой мой, после такого срока вместо того, чтобы подносить золотые розы, начинают подумывать о разводе.

Рексфорд засмеялся:

– Только плохие мужья, родная. Весь вопрос в том – способен человек или не способен оценить свою подругу жизни, и притом с самого начала.

Он встал и поправил перед зеркалом свой галстук.

– Ты знаешь, Фай, я не хвастаюсь блеском своего ума, но ты согласишься, что я сумел рассмотреть хорошую вещь, как только я ее увидел?

Он опять подошел к постели и стоял, улыбаясь жене.

– А не пора ли тебе встать?

– Дорогой мой, сейчас. Пошли мне Матильду, когда пойдешь. Ее дверь через одну от моей направо. Но, Тони, одну минутку – подойди сюда.

Он вернулся.

– Нет, сюда, сюда, совсем сюда.

Он опять встал около нее, немного заинтригованный; она протянула ему руку.

– Встань на колени, дорогой, ты так далеко от меня; и не смотри так испуганно, никто тебе ничего не сделает. Тони...

– Что, родная, в чем дело?

Его недоумевающий взгляд не мигая встретился с ее глазами.

– Тони, ты был так бесконечно мил, ты говоришь... ты сказал сегодня такие вещи, которые тронули мое сердце и даже немного поразили его. Нет, дорогой, я имею в виду «поразили» не в дурном смысле. Я говорю это по поводу твоего последнего замечания относительно умения оценивать. О дорогой, разве в тебе произошла такая перемена? Разве ты не продолжаешь жалеть, не продолжаешь вечно думать, что это... как бы сказать... тяжелое испытание, когда бывает у нас Чарльз с мальчиками?

Рексфорд высвободил свою голову из-под ее руки.

– Послушай, – твердо сказал он, – я никогда не думаю и не думал, как ты говоришь, никогда не сожалел о том, что взял тебя тогда на охоту. Мы оба рассчитывали, что все окончится благополучно, и ты должна знать, что счастливейшей минутой моей жизни была та, когда доктора, после того, что случилось, сказали, что ты останешься жива. Слушай меня, Фай, и верь мне: если грозит опасность нескольким лицам, в числе которых находится жена, мужу ни до кого нет дела, кроме жены. Выбор в данном случае предрешен, неизбежен, потому что человек просто «не выбирает». Это факт, это неотъемлемая часть жизни, потому что и жена является частью его собственной жизни. Что же касается Чарльза и мальчиков, то я просто вижу в нем великолепного спортсмена, и если ты воображаешь, что я провожу свою жизнь, тоскуя по недостижимому, то знай, моя родная, что я почти никогда об этом и не думаю.

Он встал, взял ее белый шелковый пеньюар и подал его ей.

Она скользнула в него, и он минутку постоял так, держа ее в своих объятиях.

– Ну, теперь все благополучно? – спросил он, отпуская ее.

– Вполне!

Он опять, смеясь, сжал ее в своих объятиях.

– Ты иногда бываешь прямо ребеночком, правда! Ну, теперь поспеши со своим одеванием, а я пойду куплю на пробу местных папирос; они, кажется, очень крепкие.

Франческа услышала, как он спускается по лестнице и остановился на минутку в передней, а затем в окно увидала, как он вышел на улицу.

– Дорогой, дорогой обманщик, – прошептала она.

А Рексфорд тем временем говорил сам с собою: «Я разыграл это поразительно удачно, она совсем не догадывается, что я ее надул. Что делать! Не везет нам в этом, и нечего гнаться за невозможным. Маленький Чарльз займет пустое место, вот и все, и все-таки это будет утешением».

Он размышлял на ходу о том, что Испания, по-видимому, страна, очень подходящая для детей; они толпились у каждой двери, и каждая грязная канавка была настоящим детским царством. К нему вперевалку подбежал ребенок лет трех-четырёх, в этом зрелом возрасте уже большой мастер клянчить, и стал настоятельно требовать подачки. Рексфорд рассмеялся, дал ему песету и стал выслушивать его бесконечные благодарности. В этот миг другие ребята увидели, какое счастье выпало на долю этого пионера; они, как пчелы, окружили Рексфорда, и, пока те, которые были еще не тверды на ногах, искали поддержки, хватаясь за его брюки, дети побольше ловили его руки, и все хором жужжали ему в уши.

– Хорошо, хорошо, – сказал он, улыбаясь и смотря вниз на своих требовательных поклонников. – Нате, ловите, маленькие пираты!

Он бросил им пригоршню мелких монет, посмотрел на их свалку и пошел разыскивать папиросы.

В сотый раз обдумывал он вопрос, что сказала бы Фай на то, чтобы усыновить маленького ребенка, так – для забавы, а вернее – признался он сам себе – для того, чтобы придать жизни тот интерес, которого ей не хватало. Однако ни на минуту не остановился он на мысли намекнуть ей на это.

Мысль эта продолжала преследовать его, пока он блуждал по солнцу, поджидая Франческу, и наблюдал за бесчисленным потомством испанцев, копошившимся в жаркой пыли.

Отцовская любовь к детям обычно бывает врожденной; редко можно встретить мужчину, который не любил бы детей, но у некоторых это чувство является особенно глубоким, и весь смысл жизни для них как бы воплощается в этом чувстве.

К этой категории людей принадлежал и Рексфорд, и эта врожденная черта сделала из него хорошего хозяина, отличного дядю и рыцарскую душу, – а вместе с тем и неудовлетворенного

человека, как бы он ни отрицал это.

В данном случае получился как бы парадокс: то свойство, которое возбуждало в нем недовольство жизнью, вместе с тем не позволяло ему громко его высказывать; любовь или, вернее, склонность покровительствовать другим естественно играла самую важную роль в его отношениях с Франческой, а потому, если желания его не разделялись Франческой, он никогда их не высказывал, зная, что это могло бы ее огорчить.

Вообще, нельзя было назвать его самоотверженным человеком; просто он любил свою жену.

Франческа спустилась на веранду и подала ему знак своим белым зонтиком.

В пронизывающем ее солнечном свете ей можно было дать не более двадцати четырех лет. На самом деле ей было тридцать четыре, но у нее был тот особенный английский цвет лица, который как будто никогда не блекнет и не грубеет, и светлые волосы, одновременно напоминавшие и пепел и золото. Ее всегда называли красавицей; в действительности она была очень хорошенькой женщиной, которая умела оттенить свою красоту и которая, даже будь она бедна, все-таки казалась бы элегантною. Она была тонка почти до худобы, но одевалась так, чтобы подчеркнуть свою стройность и не выглядеть худой.

Рексфорд подошел к ней и закрыл ее белый, с серыми полосками зонтик.

– Я распорядилась подать машину, – сказала ему Франческа, натягивая длинные замшевые перчатки. – Как ты думаешь, не поехать ли нам к реке? Может быть, после завтрака нам удастся выкупаться. Я велела приготовить наши костюмы.

– О, великолепно! – сказал Рексфорд.

Пока они говорили, подъехал открытый автомобиль; верх его был поднят ввиду сильной жары. Рексфорд всегда правил сам; автомобильный спорт был его страстью, которая никогда его не покидала. Когда он не был в одном из своих автомобилей, можно было с уверенностью сказать, что он был или около него, или под ним, всегда с трубкою в зубах и что-то насвистывая. Об автомобиле он говорил, как о живом существе, с любовью восхваляя те или другие его достоинства. Поездка по Испании была ознаменована бесконечными починками самой совершенной машины, «Роллс», после ее ежедневных мытарств по самым ужасным дорогам в Европе.

Слуги любили Рексфорда. Шофер Карвель, прошедший специальные автомобильные курсы, бывал страшно доволен, когда Рексфорд заводил с ним разговор по каким-нибудь техническим вопросам, и, хотя высказываемые Рексфордом взгляды бывали иногда совсем неправильны, Карвель всегда с ним соглашался, лишь заслужить бы его внимание.

Подав машину, шофер пересел на заднее место; а Рексфорд, взявшись за руль, сначала выбрался из толпы детишек, а потом направил автомобиль по Севильской дороге. По сторонам Франческа заметила алоэ, которые стояли в цвету, в полном своем великолепии, несмотря на придорожную пыль. Мимо промелькнула часовня; какой-то богомолец положил на распятие гирлянду из апельсиновых цветов, и в лучах яркого солнца она сияла, как живой венец из звезд.

Телеги, запряженные быками, лениво тащились по дороге, и возницы, несмотря на крики Рексфорда и гневную брань Карвеля, с бычьим упрямством отказывались прибавить шаг.

Франческа смеялась над своими спутниками.

– Как хорошо, – говорила она, – что едем немного тише; по крайней мере, можно хоть что-нибудь рассмотреть.

Но Рексфорд весь кипел гневом, и лицо его выражало то негодование, которое в подобных случаях можно прочесть на лицах завзятых водителей, садящихся в автомобиль как будто лишь для того, чтобы как можно скорей из него выйти, и считающих, что всякое препятствие, встреченное ими на дороге, должно исчезнуть с той же быстротой, с какой летит автомобиль на



рекорд. Для таких страстных спортсменов автомобиль как экипаж для приятных прогулок при легком прохладном ветерке просто не существует; для них замедлить ход – уже несчастье, а остановиться, не достигнув намеченной цели, – настоящее проклятие.

Небесные мелодии нежнейшей музыки для таких ярых любителей автомобиля, как Рексфорд, ничто в сравнении с тем легким шипеньем, которое издает на ходу хорошоотрегулированная машина, и крики отчаяния грешников в аду тронули бы его менее, чем скрип неподмазанной гайки. Когда он был занят автомобилем, ничто в мире для него не существовало; как бы ни была красива местность, по которой они проезжали, он ее не замечал.

Франческа уже привыкла к этому и не делала попыток отвлечь его внимание. Она знала наперед, как все должно произойти, и терпеливо ждала окончания пути. Обычно по приезде на место Тони прежде всего производил тщательный осмотр машины, после чего Франческе приходилось выслушивать более или менее продолжительный монолог об автомобилях вообще, о замечательных качествах, проявленных машиной во время данного пробега, и о ловкости, с которой он, Тони, управлял, минуя попадавшие на пути препятствия. Лишь проделав все это, он становился снова любезным супругом и расспрашивал ее, понравились ли ей места, которые они проезжали. Франческа, как любящая жена, обычно отвечала, что она получила большое удовольствие от прогулки и что местность красива, а между тем, исключая те немногие минуты, когда попадавшие на пути коза, вол или какой-нибудь двуногий, по-видимому помышлявший о самоубийстве, несколько задерживали ход машины, автомобиль все время летел с такой быстротой, что положительно нельзя было заметить, какие красоты природы находятся по сторонам дороги; в глазах оставалось впечатление от каких-то пятен неопределенного цвета, в которых лишь по догадке можно было признать поля.

Этот день не был исключением из правила. Тони выскочил из автомобиля, помог Франческе выйти и тотчас наклонился над машиной. Карвель также повис головою вниз, и оба забормотали что-то непонятное.

Франческа, не дожидаясь Тони, прошла в отель, это была такая же маленькая гостиница, как и в Паго, с верандой, увитой виноградом, со стенами, выкрашенными в розовый цвет, и с крашеными столами. Едва Франческа успела заказать завтрак, как ее догнал Тони; он попросил, чтобы ему дали умыться, и заявил, что голоден и хочет пить.

Вскоре он возвратился на веранду, поделился с Франческой своими впечатлениями о ходе машины, наполнил свой стакан, а затем нежно спросил ее:

– Довольна, родная? Как понравилась тебе местность?

Франческа пожаловалась на пыль, упомянула об алоэ, о часовенке при дороге, и Тони одобрительно ворчал с полным ртом. Когда завтрак был окончен, Тони, зная, что автомобиль стоит в сарае под бдительным надзором Карвеля, предложил, прежде чем отправляться на реку, осмотреть окрестности.

Они под руку направились по главной улице, оба с папиросами в зубах.

На улице была тишина. Солнце пекло, но в тени было очень холодно. Как и многие другие города в окрестностях Кордовы, местечко, куда они приехали, производило странное впечатление гордости, холода и полупрезрительного равнодушия к требованиям современной моды.

– Странное место, – сказал Тони, остановившись перед церковью св. Павла и щуря глаза от солнца, лучи которого ослепительно отражались в черепицах крыши.

– Войдем, – неожиданно сказала Франческа.

Они бросили папиросы, и Тони открыл маленькую дверь, перед которой висела тяжелая кожаная завеса; когда он поднял ее, Франческа вошла и в тот же миг почувствовала, как на нее повеяло прохладой и на душе ее стало спокойно.

Она села на скамью посреди церкви, а Тони остановился позади нее. Через узкое окно врывался луч света и, проходя сквозь цветные стекла, окрашивался в зеленый, алый и пурпурный цвета.

Прибывшие были одни; в церкви было прохладно, темно и даже немного мрачно, но Франческа тут нравилось.

Неподалеку от нее возвышался алтарь в честь Пресвятой Девы; Франческа разобрала выгравированную на каменной решетке надпись: «За тех, кого мы любим». За решеткой горели свечи, пламя которых поднималось совсем прямо в тихом воздухе.

Франческа опустила руку в карман Тони, достала оттуда несколько мелких монет, купила свечей и зажгла их.

Тони наблюдал за ней. Как большинство мужчин его типа, он не очень задумывался над вопросами религии, пожалуй, даже совсем не думал о них, но все же был верующим. Он ставил религию наравне с благосостоянием государства, подданным которого он состоял, и считал ее столь же необходимой, как почву, дождь и воздух.

Но на миг, когда глаза его остановились на склоненной стройной фигуре Франчески, на золотистой пряди ее волос, выбившейся из-под шляпы, в нем заговорило воображение. Он опустился около нее на колени и задумался; в его памяти смутно, но все же болезненно встали образы минувшего – их свадьба, смерть ребенка, дом, их жизнь вдвоем.

Франческа улыбнулась ему, и он, обняв ее, помог ей встать.

Когда они очутились опять на свету, в обычной обстановке, Тони вздохнул с облегчением. Он рад был вновь увидеть солнце, и ему приятно было смотреть на маленькую ящерицу, которая подбежала к ногам Франчески.

– Пройдемся немного, – предложил он.

Он посмотрел на Франческу; в течение дня было два довольно напряженных момента – их утренний разговор и это посещение церкви. Он сказал:

– Ты знаешь, Фай, мы должны отпраздновать сегодняшний день и выпить хорошего шампанского.

Франческа поняла его настроение и с улыбкой согласилась на сделанное им предложение, а тем временем они дошли до гостиницы, и Тони опять повеселел.

Они сели в автомобиль и с той же быстротой, как и раньше, направились к реке, которая протянулась перед ними, сияя на солнце, как изумрудная цепь в серебряной оправе. Они проехали несколько миль вдоль берега, тщетно отыскивая какое-нибудь убежище, и, наконец, увидели вдали простую палатку.

– Этого будет достаточно, – сказал Тони, – мы заплатим за то, чтобы нас пустили.

Но по приезде они увидели, что палатка пуста, хотя разбросанные домашние вещи внутри и веревка с висящим на ней бельем снаружи свидетельствовали о том, что еще утром здесь жили люди.

Тони заглянул внутрь.

– Тут хорошо, – сказал он, высовывая голову. – Немного грязно, но ведь ты пробудешь здесь недолго. Входи, и, если кто-нибудь придет прежде, чем ты будешь готова, я попрошу подождать.

Франческа быстро разделась, надела купальный костюм и пошла к реке по песку, который даже сквозь сандалии жег ей ноги. В это время Тони бросился в воду и закричал ей, что вода холодная, как лед.

Он был замечательный пловец, и, пока Франческа входила в воду, он был уже далеко.

На несколько сот ярдов ниже того места, где они вошли в воду, через реку был перекинут низкий каменный мост. Тони уже почти доплыл до него, когда Франческа услышала, как он

вскрикнул и вдруг нырнул, потом показался над водою и нырнул еще раз; в тот же миг она увидела на мосту женщину, видимо чем-то страшно взволнованную, а мгновение спустя Тони вновь показался над водою и поплыл, направляясь к берегу. Рядом с его золотистой головой виднелась еще чья-то маленькая головка.

Франческа также поплыла обратно и, выйдя на берег, побежала к мужу, захватив на ходу свое купальное полотенце.

Тони стоял на коленях, наклонясь над ребенком лет двух или трех, и старался возвратить ему жизнь искусственным дыханием. Франческа знала, какие движения нужно для этого делать; она опустилась на колени и стала помогать Тони, хотя солнце страшно пекло ей спину. За собой она слышала какой-то шум и, обернувшись, увидела мать ребенка, которая плакала, умоляя всех святых спасти ее малютку. Рядом с ней, также весь в слезах, рыдая и причитая, стоял молодой мужчина.

– Боюсь, что ничего не поможет, – прошептал Тони, выпрямляясь и откидывая волосы со лба. – Какое несчастье; я надеялся, что нам удастся спасти маленькую попрошайку!

И как раз в эту секунду ребенок открыл глаза; таких зеленых глаз Франческа никогда раньше не видала. Малютка посмотрела на Тони и улыбнулась ему, как будто желая выразить ему благодарность за свое спасение и прося, чтобы он в будущем не покидал ее.

Тони сел и разразился громким смехом. Франческа наклонилась над ребенком и ухаживала за ним до тех пор, пока он окончательно не пришел в себя.

Родители подошли ближе и стали шумно выражать свою благодарность, на что Тони только бормотал:

– Хорошо, хорошо...

Голос его, видимо, успокаивал ребенка; на руках матери он стал страшно кричать, а когда Тони заговорил, он умолк и на лице его опять заиграла та же чудная улыбка, как будто предназначенная специально для Тони.

– Ну что, маленький чертенок? – сказал он. – А не правда ли, прелестный ребенок? – добавил он, обращаясь к Франческе.

– Она узнает своего спасителя. Она уже знает тебя, Тони! – ответила Франческа.

– В самом деле, мне кажется, она знает меня, – сказал Тони. – Как ее имя? – спросил он у матери.

– Долорес Жуана, сеньор.

– Вот как! Ну, хорошо. – Он подошел к малютке и взял ее маленькую ручку. – Ну, Долорес Жуана, до свиданья!

Мать проводила его томным взглядом, а Долорес исполнила свой лучший номер – она улыбнулась. Тони поцеловал ее.

Конечно, Франческа и раньше видела, как он целовал детей, как их целуют вообще мужчины – с какой-то особой торжественностью; но на этот раз, когда она увидела, как Тони в своем купальном костюме, с волосами, мокрыми от купанья, и с каким-то мальчишеским видом целует Долорес, странное неизъяснимое чувство шевельнулось в ней; ей показалось, точно кто-то схватил ее за сердце и толкает куда-то, заставляя принять какое-то решение. В этот миг, сама не отдавая себе отчета, она почувствовала, что знает будущее. И действительно, все, что произошло впоследствии, было лишь исполнением ее предчувствия.

Это ощущение, вызванное как бы шестым чувством, скоро прошло.

Франческа подошла к матери, простилась с ней и поцеловала девочку, а Тони бросился в реку и поплыл к экипажу; через полчаса они уже были готовы.

Когда Франческа собиралась выходить из палатки, которая оказалась пристанищем родителей Долорес, она услышала голос Тони, разговаривавшего с «принцессой прекрасной

улыбки».

Разговор, правда, был несложный; слышались только восклицания вроде «агу» или «ну же, маленький чертенок», но разговор этот, очевидно, нравился принцессе, так как Франческа услышала, что она отвечала радостным писком, а выйдя из палатки, Франческа увидела, что Долорес сидит на руках у Тони и засыпает, ухватившись за его обшлаг; секунду спустя она совсем заснула. Тони растерянно посмотрел на жену.

– Совсем завладела мной теперь, – прошептал он.

Франческа посмотрела на обоих, и опять то же ощущение в сердце, которое она только что испытала, заставило ее вздрогнуть.

– Не беспокойся, – сказала она голосом, который старалась сделать как можно более спокойным. – Я сейчас позову мать, и мы отправимся домой. Не правда ли, какой утомительный выдался день?

Она с болью в сердце заметила, что выражение лица Тони мгновенно изменилось; он посмотрел на нее, как бы прося извинения, осторожно поднялся на ноги и отдал ребенка молодой матери, которая разразилась целым потоком благодарностей, в то время как муж ее стоял молча, с угрюмым видом.

– Я готова, Тони, – сказала Франческа. Карвель подал автомобиль.

Тони вынул из кармана банковый билет и нежно вложил его в ручку ребенка.

– Купите ей что-нибудь, – сказал он матери. – До свиданья.

Отец, настроение которого смягчилось при виде щедрого подарка Тони, заметил:

– Сеньор, наверное, сам отец? Видно, он очень любит детей?

Франческа услышала ответ Тони:

– Нет, у меня нет детей, – на что мать ребенка выразила соболезнование, а потом, как бы спохватившись, добавила:

– Может быть, сеньор и его прекрасная сеньора только еще справляют свой медовый месяц?

На это Тони ответил, что они уже десять лет как женаты. Это его признание вызвало шепот удивления и сочувствия.

– В таком случае сеньору следовало бы усыновить ребенка, – услышала Франческа слова отца малютки.

В то же время Тони вопросительно взглянул на нее. Она ясно видела его лицо и улыбку говорившего. Маленькая Долорес также улыбалась. Тони что-то ответил; Франческа не могла расслышать его слов, но угадывала их смысл. Несомненно, он говорил, что трудно расстаться с таким ребенком, как Долорес, но потом, сам испугавшись своих слов и покраснев, он поспешил к Франческе.

– Пора ехать домой; прости, что я заставил тебя ждать. Эти крестьяне задержали меня. Мать – миловидная женщина; они тут, должно быть, очень рано женятся; у них уже шесть душ детей, кроме этой малютки, а между тем матери на вид не более двадцати лет.

Он на минутку занялся автомобилем, помог Франческе влезть и сам сел за руль. На обратном пути он был молчалив, что случалось с ним нередко; но по приезде в отель он не пошел, по обыкновению, посмотреть, как Карвель поставит машину в сарай, служивший гаражом; вместо этого он сначала погулял по веранде, а затем поднялся в комнату Франчески.

– Можно войти к тебе выкурить папироску? – спросил он.

Франческа причесывалась. Она улыбкой отпустила Матильду, а Тони присел на плетеный стул рядом с ее туалетным столом и стал вертеть в руках пробочку от пузырька с духами. Распущенные волосы Франчески светлой золотистой волной падали ей на плечи. Она продолжала причесываться и в то же время из-под опущенных ресниц наблюдала за несколько

омраченным лицом Тони. Ее пальцы судорожно сжали гребенку.

«О Боже, – думала она, – что бы было, если бы все мужчины были такие же, как он; если бы в них была та же детская беспомощность, то же упрямство, а наряду с ними какая-то особая щепетильность, в которой есть что-то рыцарское; если бы все мужчины умели так же терзать и заставлять идти совсем не туда, куда хочешь, – хотя и знаешь, что это самый лучший путь, – а куда хотят они; и поступаешь по их воле, хотя и сознаешь, что, послушавшись их, не найдешь ни покоя, ни счастья...»

Она вздрогнула, а Тони перестал вертеть в руках золотую пробочку и взглянул на нее.

– Устала? – спросил он; а затем, пристально глядя на нее, медленно добавил, видимо с желанием доставить ей удовольствие: – Занимаешься своими волосами?

Франческа пробормотала что-то о дорожной пыли и об отсутствии хорошего парикмахера. Водворилось молчание.

Тони опять начал вертеть пробочку, при трении которой о стекло флакона получался легкий скрип, и этот почти неслышный скрип изводил Франческу; ей хотелось вырвать флакон из этих больших рук, бросить его, раздавить и крикнуть мужу: «Зачем ты не высказываешь того, что ты хочешь? Зачем ты заставляешь меня облечь в слова мысль, которая причиняет мне такую боль? Ведь ты принуждаешь меня к этому своей деликатностью. Ты щадишь меня, а я не могу этого вынести...»

Была полная тишина. Заходящее солнце озаряло небо как заревом пожара; где-то щебетала птичка, а на дворе тихо журчала вода в фонтане, и, казалось, точно лепестки бесчисленных цветов вянут и тихо падают на землю. Тони опять начал возиться с пробкой. В это время постучали, и в комнату вошла Матильда с платьем в руках, которое она разложила во всем его блеске на кровати.

– Ого! – воскликнул Тони.

– Это мой главный шик, – сказала Франческа. – Помнишь, ты утром сказал, что мы должны хорошо отпраздновать день?..

Они оба рассмеялись. Матильда посмотрела на них. Немного погодя, несколько смущенная присутствием хозяина, она вышла.

Опять наступило молчание. Франческа чувствовала, что, чем дольше она откладывает объяснение, тем сильнее бьется ее сердце. Наконец, она сказала с легкой дрожью в голосе:

– Дорогой, в чем дело?

Она кончила свою прическу и протянула Тони руку.

– Какое дело? – спросил он, насторожившись. Франческа принужденно рассмеялась:

– Тони, о чем ты думаешь?

– В эту минуту как раз думаю об этой козочке – Долорес. Какое счастье, что мы были на реке сегодня! – Он встал и выпрямился. – Я пойду переоденусь и загляну с хозяином в его погреб: ведь сегодня юбилейный обед!

Хотя вино было отличное и Матильда, окончив туалет Франчески, нашла ее прекрасной, тем не менее обед прошел невесело.

А после обеда, как бы в насмешку, слуга пришел сказать, что сейчас на веранде будут петь двое цыган, и предложил их послушать.

Конечно, цыгане оказались отцом и матерью Долорес, и, конечно, она лежала и спала около них, пока они пели и играли.

Тони не выдержал; он подошел к цыганам, заговорил с ними и наклонился над спящей Долорес. Франческа слышала, как цыган Педро рассказывал о своей бедности, о громадной семье и о том, как им всем тяжело живется.

Она сказала Тони, что пойдет наверх; было еще не поздно, но то напряженное состояние, в

котором она находилась в течение последних часов, страшно ее утомило. Дойдя до своей комнаты, она села в темноте к окошку; звук гитары и тут долетал до нее, и она слышала голос Педро – молодой, сильный, полный веселья.

Была ночь; звезды ярко сияли в глубокой, непроглядной тьме, а легкий ветерок приносил откуда-то тысячу сладких ароматов.

Франческа внутренне содрогалась. Вся эта красота не гармонировала с ее настроением, с грустью в ее сердце: она была для счастливых, для тех, кто спокоен и находится в полном согласии с окружающим миром. Она была так далеко от всего этого и, может быть, накануне страданий и борьбы. Она не могла, не была в состоянии первая предложить Тони усыновить этого ребенка; нет, у нее не хватало сил сделать это, хотя она и читала в его глазах немую просьбу.

В ее мозгу блеснула была надежда: «Может быть, Тони вовсе об этом не думает?» Но она тотчас почувствовала, что обманывает себя.

Она сплела руки и сжала их так сильно, что кольца врезались в пальцы, а тяжелые мысли продолжали роиться в ее голове.

Если это случится, вся их жизнь изменится, они отдалятся друг от друга; а кроме того, она знала, что будет ревновать Тони.

Да, она будет ревновать, она сознавалась себе в этом, и легкая краска залила ее лицо, а сердце как будто пронзил укол кинжала.

И она знала, что будет ревновать не за себя, не из-за того, что Тони до сих пор любил ее одну и счастье его зависело всецело от нее, нет, она будет ревновать к бессмертной памяти той, которой уже нет и которую вызвала к жизни их первая любовь.

О, как мог он, как мог он желать этого ребенка, если он еще помнит...

Перед ее мысленным взором встали она и Тони в прошлом.

Тони вошел к ней, когда ей только что стало немного лучше и она, первый раз встав с кровати, опустилась на колени перед ящиком, где лежали прелестные маленькие платица. Он преклонил колени рядом с ней, взял ее руки и стал целовать ее, стараясь поцелуями осушить ее слезы.

Как же теперь он мог этого желать?

Как легко мужчины забывают; как недолго они действительно страдают!

Те слезы, которые Тони стер когда-то своими поцелуями, теперь как будто вернулись и потекли прямо в ее сердце.

А снизу, из насыщенной ароматом темноты, все еще долетали звуки гитары и молодой голос Педро пел о любви и горе.

Франческа встала и начала ходить по комнате. Какое невозможное создалось положение! И все случилось в какие-нибудь полчаса, из-за пустого случая. А теперь вся жизнь их бесповоротно изменится.

Дверь отворилась, и Тони заглянул в комнату.

– Ну, что? Не спишь?

– Нет, я не могу спать. Он подошел к ней.

– Что-нибудь случилось?

Она ответила ему также вопросом:

– Ушли цыгане?

– Да, то есть мать и спасенная нами сеньора Долорес Жуана ушли, а Педро, отец, еще тут.

– Ты не остался больше внизу после того, как те ушли?

– Нет.

Он нерешительно прошелся по комнате и подошел к окну, на фоне которого выделялась его

большая, хорошо сложенная фигура с широкими плечами.

Весь он был как бы олицетворением силы, и вместе с тем Франческа чувствовала, как бесполезна была эта сила при данных обстоятельствах.

Она подумала, что, если бы Тони сейчас повернулся к ней и прямо сказал: «Послушай, родная, я хочу взять этого ребенка, это самая прекрасная малютка, какую я когда-либо видел, и мне хотелось бы устроить все это завтра же утром», – насколько ей было бы легче. Своей прямоотой Тони снял бы с ее сердца эту ужасную тяжесть, которая росла с каждой минутой.

Но Тони молчал. Тогда, наконец, Франческа, подойдя к нему и взяв его под руку, сказала:

– Не говорили ли случайно Педро и Мария о том, чтобы нам усыновить их ребенка?

– О нет... как тебе сказать. Они немного поговорили, но ведь ты знаешь – это такой народ! Может быть, они и не думают совсем об этом. Ведь отдать ребенка чужим – это не такая простая вещь, которую можно обделать в пять минут.

– Да, я знаю. Но предположим, что они согласились бы – почему бы нам не сделать этого?

Она почувствовала, как он вздрогнул, и, когда он заговорил, голос его дрожал:

– Слушай, Фай. Как ты, собственно, смотришь на это? На самом ли деле ты хочешь этого? Я не скрою, что малютка мне нравится. Я вытащил ее из воды, мы спасли ей жизнь – мне кажется, все это оказывает свое влияние, но я ни в коем случае не хочу сделать ничего такого, с чем ты не была бы вполне согласна. Это всецело зависит от тебя, и мы...

Он остановился, и наступило молчание.

– Я знаю, что ты спас ее, – сказала Франческа, – и если действительно эти люди хотят от нее отделаться, если ты действительно хочешь этого, если это действительно может доставить тебе счастье...

Голос ее задрожал. Она не могла продолжать. Усилие, которое она сделала для того, чтобы облегчить все это Тони, было свыше ее сил; она уже не владела собой.

Но Тони ничего не заметил. Он начал спокойно, всесторонне обсуждать вопрос, обнаруживая этим, что все давно уже было им обдумано.

Франческа слушала – как права была она, о, как ужасно права!

Она слушала и помогала Тони в обсуждении его плана. На дворе стало совсем тихо. Педро ушел, отель тихо погрузился в сон. Внезапно в тишине, разбуженная чем-то, отозвалась птичка; она замолкла на секунду, потом опять нежно защебетала.

Франческе показалось, точно из глубины далекой ночи, той, что была десять лет тому назад, до нее долетел шепот, в котором слышался призыв и который требовал у ее сердца ответа.

Она перестала слушать Тони; в ее памяти воскрес тот – другой вечер; в плюще около дома, куда они отправились после свадьбы, вдруг вспорхнула и запела птичка. Она ждала Тони и, услышав этот шорох, вздрогнула, и сердце ее начало усиленно биться; она подумала, что это Тони.

Она прислонилась к окну и стала всматриваться в плющ, а из сада к ней доносился какой-то тонкий аромат, и ей казалось, что это пахнет чудная, единственная в мире роза.

Кто-то потянул ее назад, и она очутилась в объятиях Тони; он стоял позади нее и ждал.

Они стояли у окна, рука в руке, любясь красотой ночи – ночи, такой же, как сегодня, такой же удивительно прекрасной, бездонно темной. Но тогда Тони целовал, целовал без конца ее волосы, называя их «душистой короной», а она стояла, прислонившись к его плечу.

Десять лет назад...

Голос мужа долетел до нее сквозь эти воспоминания:

– Это зависит от тебя, ты должна решить.

Она схватила его руки.

– Тони, помнишь ты ту ночь, десять лет назад?

– Конечно, помню, – сказал он спокойно.

– Как все это было чудно, правда? И как грустно – как бы знакомые стали надо мною смеяться, если бы они знали, какая я сентиментальная, – да, как грустно, как трагично то, что все это прекрасное прошло так скоро и... позабылось.

– Оно не забыто, – сказал Тони, – только положение изменилось, мы как бы выросли. Ты знаешь, я не мастер выражать свои мысли, но мне кажется, что, хотя действительно день свадьбы прекрасен, великолепен, но жить вместе день за днем, чувствуя красоту жизни и зная, что и другой испытывает то же, это не менее прекрасно, не менее удивительно. Столько дней я смотрю на тебя, горжусь тобою, радуюсь тебе, потому что ты моя жена, потому что ты любишь меня! Мне это кажется прекрасным.

– О Тони, – прошептала Франческа; она обняла его и прижалась головой к его плечу.

Он поцеловал ее волосы.

– Чем это они пахнут, Фай? Какие это духи?

– Я забыла, как они называются. О Тони, я люблю тебя.

Он глубоко вздохнул, нагнувшись над ее склоненной головой. Франческа подождала минуту, затем быстро продолжала:

– И, Тони... я думаю... мне кажется... я решила... мне бы хотелось, чтобы к десятой годовщине свадьбы мы сделали себе подарок – другую Долорес. Как тебе кажется, разве это не хорошая мысль?

Она постаралась улыбнуться; по ее голосу было слышно, как она волнуется. Тони крепко обнял ее.

– Фай, неужели? – И, не ожидая ее ответа, он быстро продолжал: – Значит, ты не против этого?

Она ждала этого вопроса и быстро ответила:

– Нет, дорогой мой!

Он выпустил ее из своих объятий. Теперь решение было принято, сомнений и колебаний больше не было; можно было сознаться.

– Я часто думал об этом прежде, – тихо сказал он, – но я боялся... я думал, что, может быть, ты будешь огорчена. Как мало мы знаем друг друга! А теперь все устроилось!

– Да, все устроилось, – ответила Франческа, как эхо.

Где-то вдали раздался бой часов, тихо и нежно неслись звуки в ночной тишине.

– Уж поздно, – пробормотал Тони.

– Тебе придется помочь мне раздеться, – сказала Франческа.

Жизнь снова потекла обычной колеей; жертва была принесена и осталась незамеченной.

Тони занялся расстегиванием белого с серебром платья, слегка ворча, когда крючки застревали. Окончив, наконец, свою работу, он испустил глубокий вздох облегчения.

– Теперь я займусь своим туалетом. Не задержусь – устал сегодня.

Он скрылся в свою комнату, и Франческа услышала, как он плескался, умываясь, и причесывал свои волосы, а затем он вновь появился, вымытый и сонный.

– Не правда ли, какой длинный день? – спросил он. – Ведь не каждые пять минут и не в каждый свадебный юбилей усыновляют ребенка. Мне кажется, нам следует сделать этот день днем ее рождения, чтобы она праздновала вместе с нами. Хочешь спать, родная?

Может быть, Франческа ответила так тихо, что ему послышалось в ее голосе грусть; или, может быть, в глубине души он смутно почувствовал, что существуют на свете огорчения. Все, что сказала Фай, было, несомненно, вполне правильно, и все-таки, подумал Тони, какие странные, непонятные существа эти женщины. Впрочем, может быть, Фай вспомнила... милая, дорогая бедняжка!



Он обнял свою красавицу жену.

– Ты счастлива, дорогая?

– Конечно.

Она погладила его густые растрепавшиеся кудри.

– Почему ты задаешь мне этот вопрос?

– Да так, не знаю. Ведь все-таки сегодня опять исполнился год.

– Да, ты прав.

Он подождал. Франческа молчала. Несомненно, она устала; ведь был такой длинный день.

Он высвободил свою руку.

– Спокойной ночи, родная.

– Спокойной ночи, дорогой.

Когда он так крепко заснул, что было трудно разбудить его, Франческа встала и опустилась на колени около окна.

Необычайно ярко, как в калейдоскопе, промелькнула в ее памяти вся их жизнь с Тони со дня их свадьбы – веселые дни, когда они устраивались, потом совместные прогулки, охоты, танцы, визиты. Тони казался вполне счастливым, вполне довольным своей жизнью, и тем не менее в самых сокровенных тайниках своей души он все время лелеял эту надежду, о которой она ничего не знала, которую Тони считал слишком священной, чтобы высказать ее ей; или же он полагал ее любовь недостаточно глубокой для того, чтобы отважиться осуществить свою мечту.

Эта мысль в данный момент огорчала ее больше, чем принесенная ею жертва, сделавшая возможным осуществление его желаний; ведь эта жертва скрепила их еще более; но сознание того, что Тони молчал столько лет, ревниво оберегая даже от нее свою мечту, больно ранило ее сердце. Устремив взор в темноту ночи, она начала думать о том, как мало мы знаем о происходящем в чужой душе: человек проводит всю свою жизнь рядом с другим человеком, знает каждый его поступок, связан с ним взаимной любовью и вместе с тем знает его так мало, что тот имеет возможность скрыть такое серьезное желание, могущее в корне изменить всю их совместную жизнь. Удивительно странно было открывать совсем новые свойства, новые черты в характере любимого человека!

Ее пугало то одиночество, в котором она внезапно почувствовала себя с тех пор, как он сделал ей это внезапное признание.

Она чувствовала какое-то волнение, вызванное борьбой в ее душе самых разнообразных чувств – ревности, и благодарного порыва, и страха, и тоски, и большого глубокого горя. Несмотря на возбуждение, в котором она находилась после жертвы, принесенной любимому человеку, она сознавала, что будет страшно страдать, видя Тони вместе с Долорес, и что самая дорогая ей память будет навсегда омрачена. И все-таки она хотела, чтобы Тони был счастлив. Она всегда считала, что надо мириться с неизбежным, что надо насколько хватает сил приспособляться к обстоятельствам. Это было ее жизненным лозунгом, и она считала, что мудрее этого нет ничего на свете, а теперь, к ее удивлению, при первом серьезном испытании это правило оказывалось слабым и ненадежным – пустым набором слов.

Нелегко было мириться с тем, что причиняет боль и огорчение.

Заря забрезжила на востоке; первый луч, как жемчужное копье, прорвался сквозь темные лиловые полосы, и неровная извилистая улица начала понемногу выступать из темноты... Наступал новый день.

Франческа с грустью поднялась и подошла к туалетному столу освежить руки; при этом она мельком увидела себя в зеркале.

Неужели только вчера еще она чувствовала себя такой молодой и жизнь казалась дорожкой,

усеянной розами? Они цвели теперь, эти розы, в высокой вазе около нее. Она посмотрела на них, и первые слезы заблестели на ее глазах.

Через неделю Долорес Жуана Эствиваль, в возрасте двух лет и одного месяца, дочь римско-католической церкви и гражданка испанского королевства, стала законной собственностью Тони и Франчески, а родители Долорес стали законными собственниками целого состояния и чувствовали себя вполне счастливыми, освободившись от лишней обузы.

Долорес философски отнеслась к перемене своей жизни. Она покинула родительский кров, сидя в автомобиле между Франческой и Тони, который – как с бледной улыбкой отметила Франческа – на этот раз ехал очень медленно, давая возможность Долорес вдоволь насмотреться на все, что попадалось на дороге, – на прохожих, быков, на деревья в цвету.

В этот день после обеда, чувствуя себя бесконечно одинокой и издали наблюдая, как Тони возится с Долорес, Франческа прислушивалась к тому, как в ее душе поднималась какая-то неприязнь против них. Ей хотелось плакать, кричать, насмехаться, видя, как Тони счастлив, как его забавляет Долорес и как он смеется, когда она, упавши, смотрит с удивлением на землю, которую за минуту перед тем она смело попирала своими ножками. Он сам вместе с Франческой ездил нанимать няньку, с которой он вел переговоры на своем ломаном испанском языке, объясняя ей, как она должна ходить за Долорес.

Франческу удивила такая заботливость, и она, как и раньше, опять почувствовала тот же укол в сердце.

Долорес, с причесанными кудрями, с покрасневшими щеками и своими зелеными глазами, блестящими, как две освещенные ярким солнцем лужицы, танцевала на руках у Тони, и ее развевающееся платье окружало ее белыми волнами.

Их автомобиль несколько дней служил только для того, чтобы закупить для Долорес все необходимое; Тони сам выбрал ей пару башмачков изумрудного цвета и маленькое бисерное ожерелье.

– Я никогда не замечала у тебя такой любви к украшениям, – сказала ему Франческа.

– Да я и не люблю их; просто у Доры такие зеленые глаза! – сказал он с усмешкой.

Он выбрал для нее имя Дора; нянька Эмилия и Франческа получили распоряжение называть ее так.

Франческа не могла не согласиться, что Дора была достойна своих нарядов и того необыкновенного внимания, которым она была окружена; она действительно была прелестным ребенком.

– А уж когда она улыбается!.. – говорил Тони, не находя слов, достойных описать все очарование ее улыбки.

Дора, как бы понимая, кто ею больше пленен, почти исключительно улыбалась Тони, который был ее небом, ее мечтой, ее божеством.

Первое, что она выучилась говорить по-английски, было его имя; она знала его голос, его походку, и, как только он садился, она с необыкновенной серьезностью тотчас карабкалась на него, становилась ножками, обутыми в зеленые башмачки, на его колено, прижималась лицом к его лицу и улыбалась своей обворожительной улыбкой.

А Тони с затаенным дыханием шептал: – Ах ты, маленькая разбойница, изумительная маленькая козочка!

Он почти не ласкал ее при Франческе; он мог быть «тяжеловатым» и даже – как говорили подруги Франчески – тяжкодумом, но именно эта способность быть всецело поглощенным одной мыслью иногда делала его очень тактичным; между ним и Франческой никогда не возникало вопроса о ее привязанности к Доре, и хотя Франческа относилась к ней с большой

заботливостью и даже звала ее «моя крошка», тем не менее Тони знал, что всякая попытка с его стороны подражать в этом отношении Франческа была бы ей неприятна. И потому на людях Дора не получала ласк, и лишь когда они оставались вдвоем, Тони вознаграждал себя в этом отношении.

К несчастью, это случалось редко; Франческа почти всегда была тут, и только однажды на его долю выпал великолепный день, когда ему удалось увезти Дору в автомобиле, в то время как Франческа лежала с головной болью, пытаясь заснуть. Эмилия просила, чтобы ее тоже взяли, – не потому, что она любила автомобиль, а потому, что она любила Дору; автомобиль в минуту откровенности она назвала «дьявольской машиной». Это случилось после того, как она проехала с Тони, которому пришла мысль пуститься полным ходом, и этой памятной прогулки она никогда уже не могла забыть.

При одной мысли, что ее дорогой ребенок будет подвергаться такой ужасной опасности, что ему грозит, может быть, даже смерть, Эмилия не могла не протестовать.

Но Тони был неумолим, а потому, поручив свою малютку всем святым и обратившись к ним с молитвой, чтобы они спасли автомобиль от дурного глаза, Эмилия проводила взглядом машину, которая скрылась в облаке пыли, и отправилась на веранду продолжать прерванный отдых; к счастью, там уже находился лакей Мигуэль, который также предавался отдыху после трудов и помог ей забыть свою печаль, наигрывая на мандолине и сопровождая свою игру выразительными взглядами.

Между тем Тони и Долорес ехали в полном молчании; на Долорес было белое кисейное платье и большой белый платок, который, как вершина горы, поднимался над ее белым шелковым капором.

– Нравится тебе это? – спросил, наконец, Тони, когда они уже проехали около десятка миль; он перевел свой вопрос на природный язык Долорес, и она улыбнулась. Тони обнял весь этот белый комочек, и Дора начала смеяться, выпрямилась и положила свою ручку на громадный руль. Тони посадил ее к себе на колени, и Дора стала править.

Было жарко и тихо. Наконец, заметив сад, который, по-видимому, принадлежал нежилому дому, Тони остановил автомобиль и, держа Дору на одной руке, направился к железным воротам.

Дом, расположенный на высоте двух небольших террас, стоял в глубине сада; это было четырехугольное строение, выкрашенное в розовый цвет, который местами выгорел и стал лимонно-желтым; крыша, черная с белым, блестела на солнце. Дом казался совершенно пустым, и тропинки в саду быстро поросли травой.

Но террасы были очень красивы; с них каскадами спускались, как бархатные волны, розы различных оттенков, от ярко-красного до нежнейшего розового.

Тони вынул свою трубку и уселся под апельсиновым деревом.

Тут было бесконечно тихо; казалось, что на свете существуют только солнечное сияние, пчелы и розы.

– Мы с тобой будем часто приезжать сюда, – сказал он Доре. – Это будет наш волшебный сад, мы его открыли.

Он серьезно посмотрел на Дору, и она также взглянула на него широким довольным взглядом, которым смотрят дети, когда они любят и верят.

Тони не испытывал в общении с детьми той неловкости, которая так свойственна мужчинам; он нисколько не стеснялся, когда дело касалось детей; короче говоря, он принадлежал к тому разряду мужчин, которые любят детей, собак и лошадей, потому что они понимают его.

В его голове рождались всевозможные планы насчет Доры, в то время как эта последняя

всецело была поглощена игрою апельсинами. Усевшись у ног Тони, она с поразительной настойчивостью старалась попасть одним апельсином в другой, причем поле ее игры заключалось между ногами Тони, которые служили пограничными столбами.

Тони, как истый спортсмен, раскритиковал ее приемы; он стал учить ее тонкости хорошего удара и показал ей, как попадать в апельсин на более далеком расстоянии, внеся этим большой интерес в игру.

Дора тотчас согласилась; она устроилась поудобнее напротив Тони, на расстоянии двух шагов от него, и начала катать апельсин, как ей показал Тони.

– Чистый удар! – одобрил Тони, когда большой апельсин случайно попал, наконец, в цель. – Молодец, крошка!

Они оба с равным интересом погрузились в игру; у них был одинаковый спокойный характер, который так редко встречается в наш нервный век.

Когда катать руками им надоело, они попробовали заменить руки ногами, и результат получился удовлетворительный.

– Со временем я научу тебя играть в крикет, – сказал Тони во время игры, – и ездить верхом, и стрелять, а главное – ловить рыбу.

Чтобы дать понятие Доре об этом важном предмете, он даже вынул трубку изо рта.

– Рыбная ловля – вот это спорт, Дора! Как приятно выйти рано утром, дойти до реки, а потом стоять у воды, смотреть на тихую рябь, ждать, думать и чувствовать, что весь мир принадлежит тебе. А вечером, когда вдоль холмов поползут темные тени, зажгутся костры в лесу, возвращаться домой по густой, мягкой траве... Да, в ужении есть какая-то особая прелесть, поверь мне, малютка!

Дора, очевидно, поверила, так как тихо, но внятно повторила: «удить».

Для пылкого Тони этого было достаточно, чтобы прийти в восторг; что он почувствовал это, всегда будет служить анекдотом, доказывающим исключительную мудрость Доры. Очень довольные друг другом, они направились к автомобилю. Немного не дойдя до ворот, Тони остановился, вдруг услышав голос, который звал его:

– А, Рекс! Наконец-то я нашел вас. Я узнал автомобиль; я ведь разыскивал вас.

Последовала пауза, в течение которой Тони взял Дору на руки и вышел из сада.

Встретив удивленный взгляд молодого человека, сидевшего в другом автомобиле, Тони сказал:

– Мы усыновили Дору. Дора, это твой дядя, Пан.

Паскаль Гревиль, бросив быстрый взгляд на Тони, наклонился, взял ручку Доры и с какой-то смешной торжественностью поднес ее к своим губам.

– Честное слово, Рекс, у тебя прекрасный вкус, – сказал он, подняв голову. – Поздравляю.

Тони что-то пробормотал, а потом сказал:

– Как ты очутился здесь? Я думал, на основании твоего письма к Фай, что тебе не удастся получить отпуск; значит, у тебя здесь какое-то особенное дело?

– О да, но с этим уже покончено. В Мадриде всегда так: сначала большой шум, мы оказываемся чуть не на краю пропасти из-за того, что наша дипломатия не может сговориться о каких-нибудь третьестепенных подробностях, и вдруг на другой день, а иногда и в тот же день, все кончено. С моим делом случилось то же самое: оно истлело, как бумага в огне. Привыкаешь из-за пустяков тратить громадный запас энергии, но в конце концов это так надоедает, что становишься ко всему равнодушным, а начальство принимает это равнодушие за переутомление и дает отпуск.

Он коротко рассмеялся своим собственным словам, а Тони, взглянув на алый гоночный автомобиль, из которого вышел Пан, невозмутимо спросил:

– Это твой автомобиль?

– О нет: его одолжил мне Десанж.

Он кивнул шоферу, который сидел за рулем, и сказал ему на прекрасном испанском языке:

– Вы можете вернуться в отель. Я возвращаюсь в другом автомобиле.

– Ты видел Фай в отеле? – спросил Тони.

– Нет, ее горничная сказала мне, что она спит, а какая-то толстая испанка, с прекрасными зубами и бровями, точно выведенными карандашом, сообщила мне, что ты уехал в автомобиле. Я был удивлен ее осведомленностью, но теперь я догадываюсь, что эта девица занимает важное положение в вашем хозяйстве – очевидно, ввиду появления моей племянницы.

Тони коротко ответил:

– Я спас Дору, а затем я, то есть мы, решили ее усыновить.

– Великолепная мысль, в особенности имея в виду, что девочка так прекрасна.

Такая оценка немного смягчила Тони. Они с Паскалем никогда не дружили. Чарльз – другое дело; но Паскаль, на десять лет моложе его и единственный сын их отца от второго брака, никогда не был в полном смысле слова членом их семьи. Тони не мог бы сказать почему, но у него не было привязанности к Паскалю, они с Чарльзом редко говорили о нем, и Паскаль вел совсем обособленную от них жизнь.

Он решил пойти по дипломатии, и Мадрид был первым местом его службы; поездка по Испании и была предпринята по его совету. Это случилось таким образом: Рексфорд встретил Паскаля в Париже, где он стал отзываться с восторгом о Кордове. «<В ней есть что-то таинственное, ее прошлое живет среди ее сухих пальм с темными, протянутыми, наподобие рук, ветвями», – сказал он.

Тони никогда не думал, что у Паскаля есть поэтическое дарование; вернее сказать, он боялся этого как катастрофы и очень опасался, что его предположение окажется верным.

Само имя Паскаля совсем не подходило к их семье, где все иностранное считалось недопустимым, а потому еще с детских лет братья стали звать его просто Пан, и, таким образом, чисто случайно он стал носить имя, которое впоследствии оказалось для него весьма подходящим.

Одна из причин, почему Тони относился к Паскалю с каким-то мрачным недоверием, была его несомненная красота; она приводила Тони в отчаяние; ему казалось странным и совсем ненужным, чтобы член приличной семьи был наделен такой особенностью. Впрочем, в этом отношении он не был фатом, а если и был им, то умел хорошо это скрывать.

В глубине души Тони сознавал, что Паскаль чертовски умен, и это тоже беспокоило его; он не понимал своего молодого брата, с блестящими глазами и блестящим умом, с экзотическим видом и необыкновенной физической силой варвара; ему не нравились его развязные манеры и небрежное отношение ко всему и ко всем.

«Это происходит от его иностранного происхождения, от его матери-венгерки», – говорил себе Тони, как бы утешая себя.

Он предпочел бы, чтобы мать Паскаля была австриячкой; все-таки Австрия была менее отдаленной и менее дикой страной, чем Венгрия.

Мать Паскаля умерла вскоре после смерти их отца, который боготворил ее и вместе с тем идеализировал – счастливое сочетание двух чувств, которое очень облегчило обоим супругам задачу мирной совместной жизни.

Тони ладил со своей мачехой, в особенности, вероятно, благодаря тому, что они, по взаимному молчаливому соглашению, избегали друг друга; после ее смерти Тони передал ее состояние ее сыну.

Настоящий неожиданный приезд Паскаля Тони приписывал каким-нибудь денежным

затруднениям, что, впрочем, не особенно его беспокоило, так как он по природе был щедр и любил покровительствовать своим родственникам.

Паскаль посадил Дору к себе на колени и шутил с нею по-испански, а она отвечала ему с достоинством и нисколько не смущаясь.

Оба они в то же время улыбались Тони, и последний был поражен необыкновенной выразительностью их улыбающихся лиц, блеском золотых, орехового цвета, глаз Паскаля и нежных, прозрачных глаз Доры.

Ему внезапно пришло на мысль: «Какие удивительные дети были бы у Паскаля», – и он сказал:

– Пан, почему ты не женишься?

– А зачем? – спокойно ответил Паскаль. – В двадцать пять лет? Не стоит, мой дорогой.

– Мне кажется, ты напрасно не хочешь, – сказал Тони. – По-моему, это более подходило бы тебе, чем та жизнь, которую ты сейчас ведешь.

Паскаль сделал гримасу, причем углы его красивого рта опустились и в глазах отразилось презрение.

А затем, со свойственной некоторым людям способностью безошибочно угадывать некоторые обстоятельства, которых собеседник не желает касаться, он спросил Тони:

– А как, собственно, относится к Доре Франческа?

Тони насторожился.

– А как, ты думаешь, она может относиться? – спросил он.

– Мне кажется, это должно быть немного затруднительно – допустить в свою жизнь такое новое явление, даже когда оно облечено в такую прекрасную форму, тем более что Франческа была глубоко потрясена, когда с ней случилось то несчастье, – не правда ли?

Тони ответил, делая ударение на словах:

– Фай сама подала мысль усыновить Дору.

Паскаль снова улыбнулся, и на этот раз его улыбка выражала нечто среднее между удивлением и насмешкой.

– Я так и знал; я был уверен в этом, – согласился он.

Остальную часть пути они проехали молча. Франческа ждала их на веранде и весело махала им рукой.

За ее спиной Паскаль увидел кордовскую девушку, с бровями, точно нарисованными карандашом; Франческа давала ей какие-то распоряжения.

Он передал Дору на руки няньке и вместе с Тони сошел с автомобиля.

Между Паскалем и Франческой всегда существовали дружеские отношения. Его замечательная красота не могла не привлечь внимания всякого, кто любил прекрасное; голова его, покрытая целой шапкой густых черных волос, была великолепна; роста он был высокого, и от всей его тонкой, но вместе с тем внушительной фигуры веяло силой атлета.

Женщины вздыхали по нем, что забавляло его и доставляло ему тайное удовлетворение. Он был избалован, и это ему нравилось.

– Каждый должен быть избалован, – заявлял он, – это очень хорошо.

– Какой бы от этого ни получался результат, я полагаю, что такая избалованность не имеет ничего общего с добродетелью, – смеялась Франческа.

Паскаль снял свою мягкую белую шляпу и приветствовал Франческу, поцеловав сначала одну, а затем другую ее руку. С нею он держал себя проще, более искренне, чем с какой-либо другой женщиной. Он любил ее, но никогда не мечтал ухаживать за ней, а потому способен был оценить ее по достоинству.

В эту минуту ему было очень жаль ее; в нем было затронуто рыцарское чувство, которое

еще не окончательно было подавлено его эгоистическим взглядом на жизнь.

Способность угадывать чужие мысли сразу подсказала ему, что она страдала, о чем также свидетельствовали темные круги под ее прекрасными глазами.

Он прислонился к одной из колонн веранды и любовался своей невесткой.

Франческа была необыкновенно изящна в своем белом тонком платье, которое еще более оттеняло ее стройность, и ему доставляло удовольствие смотреть на ее силуэт на фоне розовых гераней, отсвет которых, казалось, отражался на ее светлых, золотистых волосах; в ней была какая-то особая сила, которая одновременно манила и заставляла быть почтительным.

Паскаль думал: «Она принадлежит к тому разряду женщин, в которых мужчины влюбляются и которым женщины завидуют».

Сегодня ее красота была словно окутана какой-то тенью.

«Она смертельно несчастна», – сказал себе Паскаль, и ему захотелось обнять ее и сказать: «Послушай, Фай, я все знаю. Я страшно огорчен за тебя».

Но он знал, что, если бы он допустил такую откровенность, Франческа посмеялась бы над ним, весело похлопала бы его по волосам, и он почувствовал бы себя очень неловко.

Он сам внутренне посмеялся над собой, что позволил своим чувствам идти по такому опасному пути; его девизом было – наслаждаться без сожалений и исчезать без упреков.

А потому он сказал:

– Мне нравится ваша девочка. Франческа и вы сделали прекрасный выбор; она очень хорошенькая, и, кроме того, у нее есть еще одно большое преимущество; нельзя спорить о том, чьи у нее глаза и с какой стороны – отцовской или материнской – она получила свой нос.

Он весело стал рассказывать о Мадриде, настаивая на том, чтобы Рексфорды возвратились с ним, а затем, после кратковременного пребывания в Мадриде, проехали в Биарриц: там серебряная морская пена, баккара, замечательные вина...

– Вы должны поехать, мои дорогие!

Тони ненавидел, когда его называли «мой дорогой»; он считал это личным оскорблением, причем таким, на которое, как на укус комара, нельзя было сердиться, не показавшись смешным. Он зажег трубку и продолжал молчать.

– Ну, что же ты молчишь и опустил голову? – с веселой небрежностью обратился к нему Паскаль.

– Если хотите, поедem, – сказал Тони не особенно любезно, устремив глаза на Франческу.

– Значит, решено, – заключил Паскаль, глядя на Тони из-под своих густых ресниц. Он был сердит на него за Франческу, насколько вообще он умел сердиться.

Паскаль не имел никаких особых привязанностей; ему не было знакомо чувство любви, которое стремится покровительствовать любимому человеку; их наследственное имение Гарстпойнт, которое Тони, сделавшись наследником, так украсил, было для него просто местом, которое он всегда знал, и все-таки он прекрасно понимал Франческу и совсем не понимал Тони. Делая свои наблюдения, он в тысячный раз спрашивал себя, зачем умные женщины выходят замуж за глупых мужчин. Или зачем, выйдя за них замуж, они не умеют устроить свою жизнь так, чтобы поступать, как им хочется.

Паскаль не понимал любви, которая жертвует собой. По его понятиям, раз человек желал чего-нибудь, он должен был стараться этого добиться во что бы то ни стало, и отдавать любимому человеку следовало лишь столько, сколько можно было рассчитывать получить от него самому.

Паскаль с Франческой гуляли вдвоем в старом саду. Они вышли после обеда, за который сели лишь в девять часов; было поздно, пели соловьи, воздух был насыщен запахом, который манил и опьянял, как крепкое вино; легкий прохладный ветерок, нежный, как ласка, слегка



шелестел зеленью кипарисов, и было так тихо, что можно было слышать, как падают на сожженную солнцем землю один за другим лепестки увядающей розы.

В такую ночь в сердце зарождаются смутные, не связанные с определенной надеждой желания; хочется, чтобы вся эта красота жила вечно и чтобы в сердце всегда звучал ее мучительный и вместе сладкий призыв. Это была ночь, когда несчастье кажется еще более глубоким, чем оно казалось днем, потому что наружная красота не гармонирует с внутренним разладом и еще более растравляет рану уязвленного сердца.

Франческа думала с отчаянием, как бы уйти от себя самой. Тони скрылся после обеда; она, конечно, знала, куда он пошел, но надеялась, что он скоро придет к ним в сад.

Он не пришел.

Неделю назад он гулял бы подле нее и вместе с нею наслаждался бы красотой ночи.

Возможно, что он молчал бы, но Франческа умела понимать его без слов.

И, внезапно взглянув на Паскаля, она была поражена его молодостью и жизнерадостностью.

Обычно он относился безразлично ко всему окружающему или предъявлял к жизни неосуществимые требования, но в этот вечер волшебный запах ночи расшевелил и его, стряхнул с него его фатовство, и он стал таким же существом, как и все. Он взял Франческу под руку.

– Не правда ли, как все это божественно? В такую ночь в нашей душе пробуждаются чисто языческие инстинкты. Хочется просто жить, имея перед собой весь этот мир, чтобы мечтать в нем и любить. Франческа, вы знаете, я чувствую себя сегодня так, точно все звезды принадлежат мне и я мог бы, если бы захотел, забросить каждую из них на край неба. Я чувствую... – Он вдруг остановился и, как бы угадывая ее настроение, добавил: – А вы в то же самое время чувствуете, что все нехорошо и что нарушен порядок вещей!

Франческа тихо засмеялась:

– Мой милый мальчик, не стоит говорить об этом. То, что случилось, кончено. Я сама помогла тому, чтобы оно случилось. Я была бы недостойна уважения, если бы я не сделала этого, а теперь было бы малодушием и безумием жалеть о том, что поступила хорошо. Во мне нет ни того, ни другого. Я просто, как и всякая другая женщина, ревнива и лишь немного искупаю этот грех тем, что сама смеюсь над собой в те минуты, когда не слишком себя презираю.

– Зачем вы это сделали? – спросил Паскаль. Франческа опять засмеялась:

– Зачем? По причине, которую вы вряд ли поймете; вы слишком умны для этого, и ваше сердце, при всей вашей молодости, слишком старо. Я сделала это потому, что я люблю Тони и хочу, чтобы он меня любил; потому что он не умен, а также потому, что он для меня не только муж, но и маленький сын, и он должен получить то, что он хочет, если я в состоянии ему это дать. Я могла дать ему Дору и не могла сама решиться на это. Он обезоружил меня тем, что боролся на моей стороне. Я думала только о себе, а он думал также обо мне.

– Или вы воображали, что он думал? – вставил Паскаль.

– Мой дорогой, когда любишь, – то, чему веришь, становится правдой и остается таковой до тех пор, пока веришь. Но, если хотите, скажем, что я верила, будто Тони щадит меня, а я щадила его – и, таким образом, мы вертелись в кругу, из которого был только один выход – разорвать этот круг. Возникал вопрос: почему два существа должны были быть несчастны, а одно вполне счастливо? И вот теперь два из нас вполне счастливы, а третья – я сама – если не счастлива, то, по крайней мере, чувствую, что поступила хорошо, а хорошие поступки должны быть награждаемы, – хотя, как я заметила, никогда не бывают вознаграждены; это происходит, вероятно, от того, что, сделав что-нибудь хорошее, начинаешь ждать награды и этим отнимаешь у хорошего поступка всю его заслугу. Я чувствую себя в положении тех людей, которым их

друзья на Рождество делают подарок, чтобы потешить самих себя и совершенно не считаясь с тем, в чем их друзья нуждаются, а те должны казаться благодарными. Паскаль, вы знаете, я иногда переживаю то, что должен переживать человек, потерпевший крушение в море и выброшенный на необитаемый остров, где он находит лодку без весел и где ему не из чего их сделать. Мы оба с Тони страстно хотели иметь ребенка; нам казалось, возвращаясь к моему примеру, что ребенок поможет нам выплыть на жизненный простор с нашего островка, который начинает становиться для нас немного тесным. И вот теперь ребенок налицо, я не знаю, что мне делать, и у меня нет достаточно искусства, чтобы помочь Тони.

– Я понимаю, – подхватил Паскаль. – А Тони такой опрометчивый, сказал бы я, и не заглядывает вперед. Ведь, по-моему, это отчаянный риск усыновить такого ребенка, как Дора. Как можно предвидеть, что из нее выйдет?

Было заметно, что ему доставляло довольно пошлое удовольствие думать, что Тони разочаруется.

– Не надо забывать, что существует наследственность, – добавил он.

Франческа почувствовала, как далек он от нее, несмотря на его стремление облегчить ее горе; он считал, что ее может утешить только разочарование Тони; в ней сразу заговорила настоящая, честная любовь супруги, неизменная при любых обстоятельствах.

– О нет, этого не случится, – спокойно сказала она. – В девяти случаях из десяти главную роль играет среда – конечно, когда ребенок попал в нее в раннем возрасте, а это преимущество как раз на нашей стороне. Дорогой мой, посмотрите, что творится в свете, который мы с вами знаем; если вы хотите примеров, я могу указать вам на мужчин и женщин, для которых среда была всем, которых создала среда.

Из темноты раздался голос Тони, который звал их.

– Мы здесь! – ответила Франческа.

Он направился к ним с сигарой в зубах, кончик которой светился, как пунцовая звездочка.

– О чем вы рассуждали?

– О положении в обществе, – ответила Франческа с легким смехом.

– И к чему же вы пришли?

– Оказывается, что его имеют только те, которые в нем нуждаются, – ответил Паскаль с усмешкой.

Тони, стоя все на том же месте, тихо сказал:

– Не правда ли, хорошо здесь, Фай? Клянусь Юпитером, жимолость пахнет английским поселком.

– Хвала тебе, жимолость, – насмешливо сказал Паскаль, – что ты пахнешь, как хорошенький, чистенький английский поселок. А здесь что мы имеем? Одурающий запах и яркие золотые звезды; даже пыли и той нет.

Он вынул портсигар, взял из него папироску и с шумом захлопнул его. Тони действовал ему на нервы. Ему хотелось рассердить его, вывести из его благодушного настроения. Это могло показаться глупым, но красота Франчески и голос ее, который задрожал, когда она отвечала Тони, огорчали его, ему хотелось, чтобы в эту ночь жизнь, со всей ее красотой, принадлежала ему одному, и злился, что из всего того, что его окружало, он не может воспользоваться ничем.

После минутной паузы он обратился к Тони с вопросом:

– Где ты был все это время?

Но Франческа тотчас заговорила. Паскаль понял, что она не хочет слышать ответа на заданный им вопрос.

– Я поднялся наверх, чтобы посмотреть, как чувствует себя Дора, – сказал Тони.

– В такую ночь! – воскликнула Франческа.

— А что, разве в нынешней ночи есть что-нибудь особенное? — спросил Тони взволнованным голосом.

Паскаль громко рассмеялся; в этот момент прошел слуга с фонарем в руках и осветил его смеющееся лицо; оно было похоже на лицо фавна, наслаждающегося своим лукавством и силой.

Биарриц, несмотря на его баккара, коктейли и прочие приятные вещи, не понравился им. Тони не любил шумную гостиничную жизнь; а Биарриц как раз был страшно многолюден; казалось, точно он вертелся в вихре бриллиантов, платьев, громкого смеха и бесконечных обедов.

Доре Биарриц тоже не понравился. Она почти не видела Тони, и жизнь ее была скучна. Она с плачем заявляла об этом на испанском языке, потом вдруг начала бледнеть и заболела.

В первый раз, с тех пор как они взяли ее, Франческа искренне, по собственному почину, занялась ею, брала ее на руки, стараясь утешить и бормоча разные ласкательные слова, которые дети понимают на всех языках.

В этот вечер она приехала с бала, который давала Диана Арундель на своей вилле, страшно устала и готовилась лечь спать. Тони тоже, как он говорил, «зевал до упаду», как вдруг в дверь постучали и вошла Эмилия, которая начала объяснять с отчаянной жестикуляцией, что дорогая крошка, дорогой маленький ангел чувствует себя хуже, что она умирает и Господь знает, что нужно делать.

Франческа угадала, что нужно делать. Она взглянула на обезумевшее от ужаса лицо Тони, накинула пеньюар и побежала в комнату Доры.

Она схватила ее на руки, начала качать, и тут внезапно ей пришло на память средство, которое она вычитала много лет назад в одном руководстве.

Нужна горячая вода, – все, что она могла вспомнить, – и она применила ее. Дора немного закашлялась, вдруг успокоилась, и ей стало сразу лучше. Франческа опять взяла ее на руки, и, когда она прижала ее к своему сердцу, она почувствовала себя необычайно радостной, счастливой.

Она продолжала ходить по комнате с малюткой на руках до тех пор, пока не вошел Тони.

Он шел крадучись, на цыпочках, а за ним вошел маленький, страшно болтливый доктор; последний мог только констатировать, что Франческа поступила очень умно.

Когда он ушел, Тони подошел к Франческе, сидевшей на диване со спящей Дорой на руках, и стал подле нее на колени. Он обнял ее и на минуту прижал ее голову к своей.

– Ты – волшебница, Фай, – сказал он хриплым от волнения голосом. – Доктор Гомес говорит, что, если бы ты не действовала так быстро, Дора была бы безнадежна. Мне так хотелось бы поблагодарить тебя за все, за то, что ты позволила усыновить ее, за сегодняшний день, за все...

Они дождались, пока Дора спокойно заснула в своей кроватке, и, поручив ее Эмилии, вышли в коридор, слабо освещенный одной лампочкой. Тут Тони схватил Франческу на руки.

– Ты смертельно устала, – сказал он.

Он донес ее до ее комнаты, уложил на кровать, скрылся на минуту и вновь появился со спиртовой лампочкой и маленьким котелком в руках. Он зажег лампочку, насыпал в котелок чаю из серебряной чайницы Франчески и, когда чай настоялся, налил чашку и стал поить Франческу.

– Прелесть ты моя, – сказал он.

Давно уже она не слыхала этого слова; только в редких, исключительных случаях он называл ее так.

И в этот момент, когда на востоке уже занималась заря, Франческа почувствовала, что вся эта обстановка, все, взятое вместе, – и Тони в своем широком халате, и сама она с распущенными волосами, и эта чашка чаю, и, наконец, это нежное название как бы

вознаградили ее за ту большую жертву, которую она принесла, подарив ему Дору; это было наградой за все ее муки, за все ее терзания. Чай был слишком крепок, в нем не было сахара и слишком мало молока, и тем не менее он показался ей божественным напитком.

– Теперь усни, милая девочка, – сказал Тони своим самым нежным голосом, в котором звучали и материнская заботливость, и любовь супруга.

Проехав не спеша страну замков, они ранней осенью прибыли в Гарстпойнт, и тут снова жизнь потекла, как и прежде: гости и охота днем, а по вечерам бридж и покер; ребенком почти некогда было заниматься. Дора появится и исчезнет, Тони только посмеется с нею и отпустит ее. Только перед обедом он успевал на часок проскользнуть в детскую, где он обыкновенно находил в сборе весь штат с миссис Бидль, учительницей английского языка, во главе.

Дора быстро училась говорить и столь же быстрые успехи делала в ходьбе, так что однажды вечером она соскочила со стула и пошла навстречу Тони, подобно воину, выступившему в поход.

– Классно! – сказал Тони, и в лексиконе Доры прибавилось еще одно лишнее слово.

Чтобы выразить свое желание, она обыкновенно из целой фразы выбирала одно или два слова; услышав, как Тони говорит: «Пойдем погуляем немножко», она стала говорить просто: «Немножко», выражая этим желание отправиться на прогулку, и Тони отлично понимал ее.

Однажды Франческа ввела в детскую нового гостя; это был Ник, фокстерьер, который считал себя лучшим крысоловом, гордостью псарни и своего хозяина.

Впрочем, в скором времени он низко пал, сделавшись просто собакой при детской; ввела его в этот рай сама Франческа. Однажды в дождливый день он встретил ее в передней и, томясь скукой, решил побыть в ее обществе.

Он пришел, был замечен и побежден Дорой; она ничего не знала о его храбрости, о его репутации, ничего не понимала даже в его красоте, но он понравился ей, она обняла его и умоляла, чтобы он ее поцеловал.

Ник заглянул в ее зеленые глаза, и ему стали понятны искушения Антония и Париса и любовь Ромео; он сразу исполнился немым обожанием к ней и, как Антоний, сменил военную жизнь на тепло и блаженство. Хозяин тщетно звал его; он только вилял хвостом и оставался с Дорой. Иногда, Впрочем, случалось, что он выходил погулять с Тони, который, пользуясь случаем, старался его усовестить:

– Где твоя любовь к спорту? Где твоя профессиональная гордость? Ты покинул меня; спустил флаг на псарне, уронил престиж двора!

Ник слушал, устремив на него свои темно-желтые глаза, вертел хвостом, как бы желая сказать: «Дора меня любит», и, весь грязный и мокрый, после прогулки бежал к Доре.

– Так падают сильные, – говорил Тони, а Ник слушал, подняв одно ухо и устремив глаза на огонь в камине.

– Нам придется взять его с собою в город, – сказал Тони Франческе, – а то, если он останется здесь, он зачахнет.

Они сидели вдвоем в гостиной в мирный предобеденный час. Тони уже оделся, а Матильда еще не приходила. Франческа лежала на диване и смотрела, как играют в камине изумрудные и красные огоньки. Эта комната в Гарстпойнте принадлежала исключительно ей. Все, что в ней находилось, было подарено ей в разное время Тони. Обстановка соответствовала и туалетной, и гостиной. На белых стенах висели портреты Тони, фотография с написанного Сарджентом портрета Франчески; виды их домов; стояло бюро, за которым Франческа писала письма, а в углу большой туалетный стол с пятистворчатым зеркалом.

Тони с трубкой в зубах весело болтал, нюхал духи и причесывал волосы щетками

Франчески. Он втайне обожал этот туалетный стол, хотя и не признавался в этой слабости; он занимал его и приводил в восторг так же, как замечательная способность Франчески вести хозяйство. Он любовался тем, что она умела всегда сделать так, «как надо», вместе с тем никогда не показывая вида, что она что-то делает.

Голос Франчески долетел до него:

– Удачный день был сегодня?

– О да! Хорошо пробежались. Правда, из-за оттепели грязь по самую шею и мягко под ногою, но такой чудный, острый запах кругом!

– Как великолепно, дорогой!

– Да, – продолжал Тони, пытаясь отполировать ноготь, для чего потребовалась бы целая банка политуры. – Но почему ты к нам не заглянула?

Франческа рассмеялась; он повернулся и посмотрел на нее с удивлением:

– Что такое? Над чем ты смеешься?

Она сидела, окруженная целой кучей подушек, с волосами, заплетенными в косу, и казалась очень молодой и веселой.

Тони подошел к дивану и остановился подле него, смотря на нее с улыбкой:

– У тебя была какая-нибудь особенная причина? Фай немного подвинулась и дала ему место подле себя.

– Сядь, я скажу тебе.

Он послушно сел.

– Ты, кажется, была в поле до самого чая, где-нибудь поблизости от нас, а я не знал. Наверно, какая-нибудь шутка в этом роде?

– Нет, у меня была более серьезная причина.

– Скажи скорее, родная.

– Тони, ты только что сказал, что мы возьмем с собой Ника в город.

– Да, и как честный человек я не отказываюсь от своих слов.

– Тони, а что, если мы останемся здесь?

– Как, пропустить сезон? Мне-то это все равно, но я не хочу, чтобы ты забросила все только потому, что я люблю деревню.

– Ну, конечно, выступай, как благородный муж в пьесе или романе. Скажи: «О нет, моя дорогая, этого не может быть!»

Она рассмеялась, но вдруг остановилась, и наступило молчание.

Потом она притянула его к себе и прижалась щекой к его щеке.

– Дорогой, слушай, ведь это правда; правда, после всего, после нашего отчаяния, вопреки тому, что сказали специалисты! Сэр Грэхем Дюк был здесь сегодня, и он так доволен. А ты – ты доволен?

Он отстранился немного от нее, а потом схватил ее на руки и держал ее так, прижав ее голову к своему плечу и смотря на нее при свете камина; она спрятала свое лицо у него на груди, и он сел, нашептывая ей нежные слова, целуя ее волосы.

Прозвучал гонг, и постучалась Матильда.

Франческа встала.

– Я измяла тебе рубашку, дорогой. Беги смени ее, а я буду одеваться, мне надо спешить.

– Сейчас, – сказал Тони; он крикнул Матильде, чтобы она подождала, и вернулся к Франческе. – Прелесть моя, – сказал он тихо.

Они постояли мгновение близко-близко, но не касаясь друг друга; потом он наклонился, поцеловал ее в губы и вышел.

Сын Франчески родился в середине лета. В душном воздухе стоял аметистовый туман; день был какой-то неживой, нечем было дышать. Вечер, не освеженный дуновением ветра, приходил к концу, а по мере того, как угасал день, угасали и силы Франчески.

Она умерла на заре, с слабой, неизъяснимой улыбкой на губах, обратив последний, полный любви взгляд на Тони. А он, почувствовав на себе этот взгляд, подумал, что ей стало лучше, так была похожа эта улыбка на ее обычную, немного насмешливую, бесконечно нежную улыбку.

Он встал на колени подле ее большой кровати, с которой сняты были все занавески, и взял тонкую руку Франчески в свою. Тысяча самых разнообразных воспоминаний, сменяя одно другое, зароились в его голове, навевая на него чувство тяжелой, невыносимой усталости.

– Господи, когда наступит день? – сказала Фай... – У нас есть сын... – Как бесконечно давно Фай говорила это... День их свадьбы... желтые розы, которые слуга где-то достал – странно, как эти люди умеют все доставать!.. О, зачем доктор не дал ей чего-нибудь, чтобы поднять ее? В ней было столько жизненной силы... в тот день на охоте – после несчастия...

Ему показалось, что рука ее задрожала, он поднял свое растерянное лицо; Фай смотрела на него тихим, ясным взором.

– Тебе лучше? – спросил он хриплым голосом. Она улыбнулась, нежно смотря прямо в его голубые глаза, понимая его. Губы ее задвигались.

– Фай! – громко закричал он в невыразимой тоске.

Она всегда заботилась о нем, угадывая, что ему нужна такая любовь; она сделала страшное усилие; оно было последним.

А в детской Рекс все время плакал; Дора смотрела на него, сидя на коленях у Эмилии, и выражала по-испански свои наблюдения.

– Какой он маленький и смешной! – серьезно говорила она; одни лишь пальчики его ног, по ее мнению, были похожи на обыкновенные – человеческие.

Рекс походил на мать; у него были такие же темные глаза, и пушок на его голове был такого же золотистого цвета, как волосы Франчески.

Он был очень нервным ребенком – все время плакал, и, слушая его, Эмилия приходила в отчаяние.

– Что за ребенок, – говорила Дора, – плачет, плачет, плачет!

Тони увидел своего сына только через месяц после его рождения.

Он как-то случайно зашел в детскую, только для того, чтобы дать указания по поводу предстоящего ремонта; он только что вернулся с осмотра своих ферм и был в сапогах и гетрах.

Он вошел и остановился в дверях, не замеченный ни Эмилией, ни Дорой.

Франческа очень любила украшать детскую. Ему вдруг вспомнилось, как однажды она ездила выбирать изразцы для камина в магазине Гуда – в этот день они завтракали в ресторане. Тысяча самых незначительных подробностей, связанных с этим днем, воскресла в его памяти; все это были пустяки, но они стали бесконечно дороги, будучи связаны с памятью о той, которой уже не было. К платью Франчески в этот день были приколоты гардении. Они вместе поехали к Гуду. Франческа говорила, что это лучший магазин в городе, потому что, когда подходишь к нему, дверь открывается сама собой. Над какими пустяками могут смеяться люди, когда они счастливы.

Напротив входа, на блестящих глазурованных черепицах, стоял оловянный солдатик и постоянно раскланивался.

– Нам нужно поставить такого же, посмотри хорошенько, как он устроен, и запомни, –

сказала Франческа.

Тони шагнул в комнату, и Дора бросилась к нему с протянутыми руками, топая своими ножками в зеленых башмачках.

– Подними меня, подними! – требовала она. Он поднял ее. Когда она прижалась к нему своей щекой и он почувствовал на своем лице это нежное мягкое прикосновение, ему показалось, точно он испытывает давно забытую ласку женщины, которая хочет его утешить, и на минуту горе его стало не так ужасно.

– Здравствуй, милашка, – сказал он Доре, направляясь к Эмилии, которая встала и печально смотрела на него.

Тони взглянул на своего сына, и лицо его приняло упрямое выражение.

– Это вот – вместо нее.

Рекс поднял глаза и серьезно посмотрел на отца; у него были точно такие же темно-янтарные, прозрачные глаза, как у Франчески, глаза сенбернара, как однажды их назвал Тони.

– Может быть, барин возьмет его на руки? – осторожно заметила Эмилия и положила Рекса на свободную руку отца, не дождавшись его ответа.

Тони взял его и стал на него смотреть; он слышал, что отцы испытывают особое чувство к своим детям, но ничего подобного он не ощутил, держа на руках Рекса; только чувство тоски, на минуту затихшее, стало еще сильнее.

Он отдал Рекса Эмилии, поцеловал Дору и вышел.

Был чудный день, свежий, пронизанный мягким светом; наступила осень, но она шла на смену лета лишь для того, чтобы, как любовник, украсить свою возлюбленную. Розы пышно цвели второй раз, и подстриженные буксовые изгороди, пригретые солнцем, издавали острый запах.

Тони вышел и сел с трубкой в зубах в маленьком садике, засаженном розами. Он снял фуражку и посмотрел вокруг себя. День был великолепный, он чувствовал это, но, Боже, до чего бесконечно тянулись теперь дни! Мозг его начал работать над разрешением всей той задачи, которую он никак не мог решить. Жизнь его была изуродована. Смерть Фай повергла его в пропасть, из которой не было спасения, он бился в ней, ища исхода, и только ранил себя.

Ему казалось, точно его обманули и поступили с ним страшно несправедливо. Если природа требовала, чтобы два существа для своего совершенства сливались в одно, было невероятно, чудовищно, чтобы и друг, без всякой причины, это слияние могло быть нарушено и жизнь одного из них исковеркана и оставлена ему лишь для того, чтобы он жестоко страдал.

Станным и непонятным казалось то, что до женитьбы он жил один и чувствовал себя довольным и счастливым. Теперь он вновь был один, но, увы, какая разница! Мозг его был подавлен горем, и он чувствовал себя выброшенным из среды людей.

Его знакомые выражали ему свою симпатию и сочувствие его горю, а он думал: «Какое им до меня дело? У них есть дом и все их обычные интересы, к которым они через час вернутся, и им не понять моего положения. Я хорошо это знаю, так как сам был таким же».

Ему неприятно было слушать, как другие говорили о Фай; эти разговоры будили в нем какое-то ревнивое чувство. Самое место раздражало его; здесь каждая комната напоминала о прошлом, о Фай, которая была одной из женщин, оставляющих отпечаток своей личности на всем, что их окружает.

Многие интересные женщины не обладают этим свойством, вероятно, от того, что яркая индивидуальность почти всегда соединяется с некоторой сухостью, а для того, чтобы быть способной, так сказать, пропитать окружающее обаянием своей Личности, женщина должна обладать большой нежностью. Фай всю себя отдала обязанностям супруги, и для нее дом значил очень много.



Их дом и раньше был прекрасен, но она сумела внести в него уют. Во многих комнатах были собраны коллекции самых разнообразных вещей. Фай обожала коробочки и веера и любила коллекционировать маленькие модели обуви всех тех мест, по которым она сама ступала ногами во время своих путешествий с Тони; всюду лежали миниатюрные коробочки – эмалевые, черепаховые, украшенные драгоценными камнями, – в некоторых сохранились папиросы; веера были в оправе и без оправы.

Тони также иногда покупал для нее коробочки, Фай всегда благодарила его за то, что он думал о ней, и хвалила его выбор, но, так как он ровно ничего не понимал в этих коробочках и знал только, что они бывают круглые, квадратные, продолговатые и что они открываются и закрываются, то самые неудачные из них с течением времени исчезали.

Он продолжал сидеть в саду; от улицы по дорожкам протянулись длинные тени; на конюшне пробили часы, и этот одинокий звук еще больше подчеркнул печальную тишину вечернего часа.

Чувство беспредельного одиночества и полного отчаяния окутало его, точно непроницаемой пеленой.

На него напал страх. «Я ничего не могу с этим поделать; я не могу уйти от этого; я должен всю жизнь влачить это за собой». Ему казалось, точно кто-то похитил у него всякую надежду, оставив ему лишь ужас переживаемых минут.

А жизнь будет идти своим чередом!

И подумать только, что многие считают ее особой, дарованной нам милостью.

Из дома вышел Ник; он постоял, освещенный последними солнечными лучами, и медленно направился к Тони.

Он подошел к нему, сел у его ног и стал смотреть в сторону. Тони взглянул на собаку и почувствовал что-то дружественное в этом маленьком существе с хохолком жестких белых волос около ошейника. Он назвал терьера по имени, погладил его по спине, и Ник, на минуту встретившись с ним глазами, прижался к его ноге.

С неба опускалась ночь, окутывая землю темным покрывалом. Они продолжали сидеть так вдвоем; Ник своим телом грел ногу Тони, и ему казалось, что собака хочет выразить ему свою симпатию, свое сочувствие.

У Тони был ревматизм; трава становилась сырой, но он не замечал этого и не шевелился.

Наконец, он встал, Ник тоже осторожно поднялся, и они медленно направились к дому.

– Итак, решено, – сказал Тони. – Я уеду возможно скорее. Я не могу оставаться здесь. Ничто меня здесь не держит. О детях позаботятся. Сидеть так целыми днями, а ночи лежать без сна – нет, я больше не могу! Решено...

Пообедав, Тони велел подать автомобиль и отправился в Пойнтерс. Это был дом, стоявший на самом краю его владений; в нем жила его тетка, миссис Стаффорд, которую по ее просьбе родственники и весь свет называли просто Джи.

Джи приняла Тони в столовой, где она заканчивала свой обед так, как заканчивал его ее отец до нее, а его отец до него, – прекрасным портвейном и грецкими орехами. Когда вошел Тони, она махнула рукой дворецкому, маленькому, сморщенному человеку, чтобы он вышел.

Джи гордилась своим умением жить, непринужденностью своей речи и знанием людей.

В этот вечер на ней было платье, похожее на мужской придворный костюм, которое ей очень шло. Она была небольшого роста и тонка, ее поседевшие волосы были коротко пострижены и стояли щеткой, что тоже странным образом шло ей. У нее были чудные темные глаза, которые она подводила, отчего они казались еще темнее; сорок лет она употребляла одни и те же духи, которые по ее заказу изготавливала какая-то французская фирма.

– Ну что, бедный мой? – обратилась она к Тони своим приятным голосом. – Готова держать пари, ты приехал сообщить мне, что ты хочешь удрать и просишь меня присмотреть здесь за всем.

– Вы правы, именно так, – ответил Тони.

– Выпьешь немного портера? Нет? Ну так виски. Пожалуйста, выпей чего-нибудь. Нынешнее поколение мужчин приводит меня в отчаяние. Мы, или, вернее, они, должны принять меры, иначе на них падет ответственность за гибель лучшей страны в мире, которая будет задавлена выскочками, колониями и волнующимися республиками. Твой отец пил, и дед, и прадед, и прапрадед, и тем не менее ты произошел от них... Ну, что скажешь?

– Я не могу больше выдержать, Джи, – сказал Тони. – Может быть, это малодушие, мне все равно, но я выбился из сил. Я телефонировал в город и повидался с Кокрэном в клубе, он поедет со мной.

– Куда?

– В Африку, в Индию, все равно! Куда бы то ни было.

– Для тебя это самое лучшее. Почему бы тебе не сделать ту же экскурсию, которую я предприняла в девяносто шестом году? Я могла бы дать тебе и карты, и все необходимые указания.

– Да, можно бы, – рассеянно сказал Тони. Джи помешала свой кофе.

– Да, я думаю, для тебя это будет лучше всего. Считай это дело решенным. Теперь дай мне инструкции, что я должна делать.

– Да, пожалуй, – пробормотал Тони. Джи посмотрела на него с отчаянием:

– Ради Бога, друг мой, будь благоразумен. Скажи мне, что я должна делать с детьми?

– Эмилия все знает, ей можно доверять; мне бы хотелось только, чтобы вы навещали их ежедневно.

– Я делала бы это и без твоей просьбы, – сказала Джи, смотря на Тони и изучая выражение его лица. – Пойдем, я сыграю тебе что-нибудь; может быть, ты думаешь, что это несвоевременно, но поверь мне, что все своевременно, что может рассеять человека, измученного горем. Жаль, я не знала, что ты придешь: я послала бы за Лайгоном и этой глупышкой Легацией, у которой только карты на уме, и мы могли бы сыграть. Теперь, пожалуй, уж поздно. Не смотри с таким отчаянием. Горе не умирает, оно священо, и все, что угодно, я не спорю, но... ведь так думают только те, для которых оно ново. Когда пройдет первый, самый острый период, ты вспомнишь мои слова, которые теперь кажутся тебе неверными. Пойдем, я

сыграю тебе «Liebestraum». Выпей еще виски!

Тони последовал за нею в ярко освещенную гостиную, где стоял прекрасный рояль, другой мебели в ней не было.

Два попугая слетели с окна и приветствовали Тони.

– Амур и Психея, сидите смирно, – приказала им Джи, и они тотчас повиновались.

Джи сняла с пальцев все свои кольца и даже обручальное, хотя оно было такое тонкое, как нитка.

– К чему показывать людям, что у тебя на сердце? Этим ты только затрудняешь общение с ними и заставляешь их считать тебя более солидным, чем ты когда-либо хотел быть, – сказала она и начала играть.

Играла она великолепно, в ее игре были одновременно и сила, и нежность.

Тони сидел с папиросой в зубах и слушал, опустив голову. Иногда глаза его останавливались на тетке, и он начинал думать, какова она могла быть в молодости. Он слышал, что у нее было много побед и что юность ее прошла довольно бурно; этому можно было поверить, судя по ее лицу и по тем страстным звукам, которые извлекали из рояля ее тонкие пальцы.

– Ну, что? Права я была относительно того, что нужно забыть? – спросила она, глядя на него смеющимися глазами. – Я знаю, ты считаешь, что забыть было бы изменой. Люди думают, что верность заключается в слепой привязанности к какой-нибудь одной идее или одному человеку, подобно тому, как некоторые безумные становятся жертвой какой-нибудь одной мысли и, кроме нее, ничего не видят. Нет, верность, в ее истинном смысле, должна заключаться в покровительстве, защите, как интеллектуальной, так и физической, любимого человека, а вовсе не в том, чем считают ее люди. Человечеству нравится ограничивать себя; большинство из нас думает, что имеет цену только такой порядок вещей, который установлен на долгое время. Перемены, движение пугают людей или вызывают их насмешки.

Она подошла к камину, облокотилась на него, поставив свою необыкновенно тонкую ногу на каминную решетку, и стала смотреть на Тони. В ее взгляде не было нежности; она просто делала над ним свои наблюдения, стараясь угадать, что будет с ним в будущем. Она решила, что он никогда не женится вновь, так как он принадлежал к тому типу людей, которые, раз полюбив кого-нибудь, причисляют любимого человека к лику святых; так вот и Тони канонизировал Франческу.

Джи удивлялась тому, какое могучее влияние могут оказывать сильные натуры; это влияние бывает иногда настолько сильно, что один человек как бы всецело воплощается в другом. Пока Франческа была жива и Тони находился под ее влиянием, про него можно было сказать даже, что он интересен, но теперь, когда это влияние прекратилось и он стал только самим собой, – какая необыкновенная произошла в нем перемена! Он стал прямо несносен.

«До чего жестоки люди, – думала Джи, – этот несчастный человек стал скучен, и, чтобы он не надоедал мне больше, я хочу, чтобы он уехал. Неужели большинство людей столь же бессердечны и все их симпатии только на время?»

– Ну, мне пора... Значит, вы посмотрите здесь за всем?

– До свидания, дорогой!

Он пошел, но опять вернулся.

– Я чувствую, что накладываю на вас большую ответственность, но вы из тех людей, которым можно доверять.

– Да, ты прав, и это, пожалуй, единственное мое достоинство, которое происходит от моей необыкновенной, стальной гордости. Не правда ли, странно, как много добродетелей имеют своим источником порок. Ну, до свидания; еще раз благодарю тебя за посещение.

Она посмотрела, как он садился в автомобиль; фонарик, горевший сзади экипажа, замелькал красной звездочкой в темноте, постепенно удаляясь. Она дождалась, пока он не скрылся совсем, зажгла папиросу и вышла в сад.

Мысль об ответственности была ей не особенно приятна; она согласилась принять на себя эту обузу только потому, что не хотела уронить себя в собственном мнении.

Гуляя, она думала: если присмотреться хорошенько, как мало поступков происходит из альтруистических побуждений; вот сама она дожила до шестидесяти лет, а много ли она делает из любви к ближнему? Главным двигателем, управлявшим ее жизнью, было правило: «Noblesse oblige». Окрестные жители любили ее за ее щедрость, друзья – за остроумие, а родственники – за умение молчать.

В ней была какая-то особая бодрость, которой обыкновенно отличаются люди, не знавшие болезней.

Она была замечательно подвижна, не пропускала ни одного собрания, ни одних гребных гонок, объездила Африку. Злые языки уверяли, что Стаффорд умер оттого, что не мог поспевать за ней. Это была неправда: Стаффорд умер самым нормальным образом, и он обожал свою жену. Правда, он был немного слабохарактерен (обстоятельство, которое Джи тщательно скрывала), но он был очень мил – как раз такой муж, какой должен быть у сильной женщины. Очень часто такие мужья благодаря стараниям своих жен достигают успеха в жизни.

Джи не могла сделать его знаменитым, так как он сам этого не желал, а ограничилась тем, что сделала из него исследователя.

Сейчас почему-то ей пришла на память его смерть, и ей вспомнилось, какое облегчение она почувствовала в первую минуту, когда осознала, что ей возвращена ее свобода, что ей не придется больше соразмерять свою жизнь с жизнью другого человека, двигаться и отдыхать на остановках вместе с ним.

У них был единственный сын. Он тоже умер...

Джи бросила папиросу. Со смерти ребенка прошло уже сорок лет, но рана до сих пор еще не зажила.

Воспоминание о собственном сыне напомнило ей о сыне Тони и обязанностях, которые она взяла на себя.

В общем, может быть, ответственность имеет свою привлекательную сторону.

В ее просторной, низкой комнате ее ждала горничная Суит, женщина с суровым лицом, но глубоко ей преданная. При ее входе Суит вздохнула.

Джи прошла к туалетному столу и села в большое кресло, не обращая внимания на удрученный вид Суит. Подавая Джи ночные туфли, Суит не переставала вздыхать и бросать мрачные взгляды.

– Да, это очень грустно, я согласна с вами, – сказала Джи, которую начинала занимать эта «игра» Суит. – Снимите с меня амуницию и можете идти. Мне больше ничего не надо.

Суит бросила мрачный взгляд на потолок, стала вешать черное бархатное платье и, наконец, не выдержав, чуть не простонала:

– Без отца, без матери...

– Без братьев, без сестер также, – согласилась Джи.

– Да, ужасно, ужасно, – продолжала Суит. – Я все думаю – где же у лорда его отцовское чувство?

– Он на время передал его мне, – тихо сказала Джи.

– Так неужели маленький сын лорда и его приемная дочь будут жить здесь?..

«Только этого не хватало!» – чуть не воскликнула Джи, но вовремя удержалась и вместо того сказала мягким голосом:

– Пути Провидения неисповедимы. Будет, что должно быть. Все, что делается, – делается к лучшему.

Суит, собрав целую кучу лент и кисей, на минуту остановилась у дверей.

– Спокойной ночи, сударыня, – загробным голосом сказала она, – постарайтесь заснуть, если это будет возможно, имея перед собою такое будущее.

Джи взяла роман и задумалась. Действительно, будущее представлялось ей не особенно ясным. Она мысленно согласилась с Суит.

Несколько месяцев спустя после отъезда Тони Джи заметила, что сын его Рекс – калека; она тотчас телеграфировала Тони, требуя от него инструкций, как поступить, но ответа не получила. Тогда она обратилась к знаменитым врачам.

Физический недостаток Рекса был незначителен, но, согласно «кодексу», которому следовала Джи, было недопустимо, чтобы кто-нибудь из семьи был калекой; это было позором для всего рода. Сама мысль об этом приводила ее в отчаяние, и вместе с тем жалость к Рексу постепенно перешла в необыкновенную любовь. Такой любви Джи не питала ни к кому прежде, даже к собственному сыну.

С поразительным терпением и неустойчивостью она кочевала с Рексом, Эмилией и Дорой из города в город: побывала в Париже, Нью-Йорке, Женеве, Берлине, Копенгагене в поисках человека, который мог бы слегка искривленную ногу сделать прямой. Она доехала бы до самого Тибета, если бы была уверена, что это чудо может быть там совершено.

От Тони не было никаких известий; только один раз он написал, сообщив о своем местопребывании, откуда он успел уехать два месяца тому назад. Но Джи не беспокоилась. Она знала, что рано или поздно Тони должен вернуться. Согласно «кодексу», мужчинам из их семьи не запрещалось путешествовать, и всегда они возвращались в Гарстпойнт; «кодекс» гласил, что они должны возвращаться.

Когда Рексу исполнилось восемь лет и он перезнакомился и подружился со всеми более или менее известными врачами, Джи со всей своей семьей возвратилась домой и поселилась в Гарстпойнте.

– Это очень хорошо, – сказала Дора, – теперь я могу ездить верхом, не правда ли, Джи?

– Конечно, – согласилась Джи.

Но она не предвидела, что это случится так скоро, и была страшно поражена, когда на следующее утро увидела приемную дочь Тони верхом на пони, который прыгал и пытался сбросить маленькую всадницу. Вслед за ней, стараясь поймать лошадь, бежали конюхи и грумы. Голова Доры немного болталась, она побледнела, но вид имела торжествующий.

Один из конюхов побежал наперерез лошади, но та пустилась вскачь. Джи задрожала, а Эмилия начала громко рыдать.

Дора крепко сидела на лошади, ухватясь руками за гриву.

«Я никогда не поверила бы, что она не училась ездить, если бы не знала этого наверно», – подумала Джи.

Дора повернула лошадь к Джи и с развевающимися волосами, которые окружали ее как темное пламя, остановилась и спрыгнула к самым ее ногам.

– Ведь вы ответили «конечно», когда я вас спрашивала, – сказала она, глядя в упор на Джи.

Она немного дрожала, но твердо стояла на ногах. Эмилия схватила ее за руки и начала целовать.

– Оставьте ее, – сказала Джи. – С этого дня ты будешь ездить с грумом и научишься править поводьями, – обратилась она к Доре.

– Я обожаю вас, – ответила ей Дора.

Она слышала, как Паскаль Гревиль говорил это Джи. Она хотела поблагодарить ее, и эти слова показались ей подходящими для выражения ее настроения.

– Благодарю тебя, – серьезно ответила Джи. – Теперь пойдика попроси Эмилию вымыть тебя и переодеть, а потом приходи на террасу, где мы будем с Рексом.

Гревиль, получив кратковременный отпуск, жил дома, наслаждаясь обществом Джи,

которая его забавляла. Он вышел на террасу с папиросой в зубах.

– Где ты был? – спросила его Джи.

– В библиотеке.

– Ты пропустил интересное зрелище: Дора вздумала прокатиться на пони, который страшно лягался; но она не упала.

– Очень жаль, что меня не было; да, на это стоило посмотреть. Я уверен, Джи, из этой девочки выйдет что-то интересное. Никаких нервов, отличное здоровье, зеленые глаза, сложена прекрасно, как древнее мифическое существо. Хотите пари, что она не станет приноравливаться к жизни, а устроит ее по-своему?

– Очень жаль, что она не нашей крови, – рассеянно ответила Джи.

Дора появилась и направилась к ним. На ней было белое платье, белые чулки и черные шнурованные башмаки. Она казалась прехорошенькой, светленькой, совсем как доброе дитя в сказке.

– Здравствуйте, Алиса, – позвал ее Гревиль, – подойдите же сюда.

Она послушно подошла и наклонилась, чтобы понюхать розу в его петличке.

– Говорят, вы были очень предприимчивы?

– А что это значит?

– Ну, храбры, отважны, смелы.

– Сколько слов, чтобы передать значение одного! – сказала Дора. – За них платят особо?

Паскаль был в восторге от ее ответов; он прозвал ее Алисой по героине известной сказки об «Алисе в стране чудес». Из ее последних слов видно было, что она хорошо запомнила эту сказку.

– Мне кажется, я выиграю пари, – сказал он Джи.

– Хорошая память еще ничего не доказывает, – немного раздражительно сказала Джи. – Случается, что самые тупые люди обладают ею и страшно этим хвалятся. А почему? В сущности, это такая же случайность, как косить на один глаз или иметь какой-нибудь недостаток в речи. Кроме того, это развитие памяти служит к тому, что еще больше развивается самоанализ, а это, по-моему, совсем нежелательно. И так уже человек пользуется каждым свободным моментом, чтобы углубляться в самого себя. Жизнь должна идти быстрым темпом, я только такую жизнь и признаю, а самоанализ – враг такой жизни, он мешает действовать.

Она остановила грустный взгляд на Рексе, который бежал по направлению к Доре.

– Говорят, что наука всемогуща, а она даже не может найти способ выпрямить искривленную ножку ребенка.

Паскаль зашевелился. Как все подобные ему люди, он не любил слушать жалобы.

– Хромота Рекса нисколько не будет мешать ему, – сказал он небрежно. – Рост его для его возраста вполне нормальный; по всей вероятности, как и все мы, он будет высокого роста. И он красивый мальчик.

Рекс посмотрел на них в то время, как говорил его дядя.

Он стоял, освещенный солнцем, на ступеньках террасы так, что недостаток его не был замечен.

Когда Джи взглянула на него, лицо ее приняло мягкое выражение, и рот немного дрогнул.

– Конечно, – сказала она, – можно сделать особые стремяна, и так далее; все можно устроить...

– Что, он нервный? – небрежно спросил Пан голосом, в котором уже не слышалось того интереса, с которым он говорил о Доре.

Его инстинктивно отталкивал физический недостаток Рекса: он оскорблял в нем чувство прекрасного, которое он развил в себе почти до болезненности. Мальчик вызывал в нем чувство

отвращения, проявляющееся у некоторых людей, когда они видят какую-нибудь ненормальность в жизни или в человеке.

Джи рассмеялась.

– Дорогой Пан! – насмешливо сказала она.

Ее тон и смех заставили Пана насторожиться. Его тщеславие было оскорблено; он привык, чтобы все женщины, как старые, так и молодые, перед ним преклонялись. Немного зажмурив глаза, он сказал с едкой улыбкой:

– Да, это очень грустно, что Дора выше его ростом.

– Дора почти на три года старше Рекса, – резко ответила Джи.

Она встала, подошла к Рексу и, взяв его за руку, пошла с ним, стараясь закрыть его собою от глаз Пана.

Рекс весело пошел с нею. Он обожал ее, не боялся ее, и между ними установились простые дружеские отношения.

Он был вполне еще ребенком и обладал чисто детской беспечностью и прелестью. Про него нельзя было даже сказать, чтобы он был преждевременно развит, и все-таки он обладал какой-то особой понятливостью. Это, может быть, происходило от его недостатка, или же в этом сказывалось постоянное влияние Джи. Кроме того, на его умственном развитии не мог не отразиться кочевой образ жизни, который он вел в течение своего раннего детства.

Джи очень рано выучила его читать, и в возрасте восьми с половиной лет он уже читал все что ему вздумается. Он очень любил лошадей и бокс и читал все, что касалось этих двух предметов. Кроме того, чисто по-детски он обожал истории с феями и веселые сказки.

В его речи часто встречались иностранные слова: это объяснялось тем, что Эмилия говорила с ним по-испански, а Джи – по-французски. Вообще, речь его была замечательно точна, и во всем, что он говорил, чувствовалось сознание собственного достоинства.

Джи с ранних лет внушила ему, что он должен занять в доме пустующее место своего отца; понятно, ему, как всякому ребенку, нравилось разыгрывать роль хозяина. Конечно, при всем его благоразумии и у него бывали дни, когда он капризничал, бесновался, предъявлял чисто детские требования.

Опыт, который произвела Дора с верховой ездой, не давал ему покоя. Он не хотел отставать от нее.

– Джи, – сказал он.

– Что, милый?

– Мне бы тоже хотелось поездить верхом. Что вы об этом думаете?

Джи пожала его руку, которую она держала в своей.

– Ты еще очень мал.

– Я мог бы ездить на совсем-совсем маленьком пони, моя дорогая.

У него было несколько ласкательных названий, которые он применял, только когда разговаривал с Джи, что ее очень трогало.

– А ты не думаешь, что тебе будет страшно?

– Доре ведь не было страшно.

– Дора старше тебя.

– И не все ли равно: если уж будет страшно, то позднее не меньше, чем сейчас!

Он остановился, загораживая ей дорогу, и стал настойчиво просить:

– Я вас прошу, зайдем на минутку в конюшню.

Они зашли. Был как раз полдень: в конюшне никого не было, и только долетавший откуда-то сверху плеск воды нарушал тишину.

– Вот здесь стоит Руфус, – сказал Рекс. – Сэм уверяет, что он бешеный, прямо черт.



Джи рассмеялась и вошла в стойло. Руфус откинул уши, задрожал и стал озираться, выкатив белки глаз.

– Посадите меня на него, посадите, пожалуйста! – попросил Рекс, весь дрожа от возбуждения и теребя рукой свои волосы.

Джи подняла его, но была недостаточно высока, чтобы посадить. Тогда Рекс ухватился за гриву и влез на лошадь. Руфус начал лягаться и бросился к выходу, но Джи загородила ему дорогу; она не знала чувства страха, и, хотя перед нею мелькали в воздухе копыта и она видела перед собой дикие глаза рассерженной лошади, она не двинулась с места.

Рекс вскрикнул, и Руфус как по команде остановился, роя землю копытами и постепенно успокаиваясь.

Джи сняла мальчика; ни тот, ни другая не проронили ни слова. Когда они собрались уходить, они увидели, что Гревиль с Дорой стоят перед воротами конюшни, во дворе; они видели всю сцену.

Джи слегка покраснела; она встретила улыбку Гревия.

– Ах, ты тоже здесь? Не правда ли, как жарко? Я думаю, пора идти завтракать.

Джи держала Рекса за руку; она почувствовала, как рука его задрожала. Гревиль взглянул на часы, которые были у него на руке, а потом, остановив насмешливый взгляд на Рексе, спросил его:

– Все еще страшно?

– Нет, – ответил Рекс с легкой дрожью в голосе.

Гревиль засмеялся.

– Дора научит тебя, – сказал он, поддразнивая его, – она не боится.

Рекс посмотрел на него в упор твердым взглядом; краска бросилась ему в лицо.

Он высвободил свою руку из руки Джи и, неловко подскочив к Пану, задышавшись, бросил ему в лицо:

– Вы – вы скотина!

Наступила минута общего молчания, затем Джи повелительным тоном сказала:

– Рекс, немедленно извинись перед дядей.

Рекс взглянул на нее и прочел в ее взгляде немую просьбу; краска медленно сбегала с его лица, и, подойдя к Гревиллю, он самым спокойным голосом сказал:

– Дядя Пан, я прошу извинения.

Он постоял еще минуту, а потом медленными шагами пошел один через двор, направляясь к дому. Джи последовала за ним.

Когда Дора и Пан остались одни, она строго посмотрела на него и сказала:

– А знаете, вы в самом деле вели себя безобразно. Мальчики терпеть не могут, когда над ними смеются в присутствии девочек. Взрослые мужчины тоже этого не любят.

– Разве, а почему?

– Потому, что они тщеславны.

– Откуда вы это взяли, маленькая всезнайка?

– Я слышала, как тетя Джи говорила это лорду Донеймору, – вы знаете, такому маленькому человеку, с усами, закрученными наподобие двух крошечных мечей, и который страдает одышкой? А он говорит, что благодаря тщеславию они делаются – ну, я не понимаю, это какое-то длинное слово, – но тетя говорит, что оно означает «сносными», и что если бы мужчины не были тщеславны, то женщинам было бы очень скучно. Почему это? – спросила Дора.

С тех пор как Гревиль был в Гарстпойнте, он так часто слышал это слово «почему», что оно произвело на него такое же впечатление, как писк комара над ухом как раз в тот момент, когда хочется уснуть и не можешь поймать это надоедливое насекомое.

Он постарался отделаться двумя спасительными словами:

– Кто знает...

Из дома раздался звон гонга. Дора захлопала в ладоши и начала танцевать.

– Пан, миленький, давайте побежим наперегонки к террасе.

– Я не могу, у меня кость в ноге.

– У меня тоже, как и у всех людей. Она посмотрела на него с презрением.

– Ну, не будьте дурачком!

Он засмеялся и побежал. Когда они добежали до террасы, он спросил ее:

– Кто позволил вам употреблять такие слова?

– Да все так говорят: и Эмилия, и Джи, и Рекс, да и сами вы – я часто слышала.

Она вприпрыжку вбежала в столовую, где для завтрака был накрыт круглый стол, и вдруг радостно воскликнула:

– Утка, утка, как чудно! Уикгем, положите мне, пожалуйста, побольше фаршу, – обратилась она к дворецкому.

Детям за завтраком в особых маленьких стаканчиках давали херес. Джи в детстве пила херес, и до сих пор у нее сохранился утонченный вкус, а желудок, как у страуса, мог переваривать что угодно; следовательно, детям полезно было пить херес.

Рекс сидел на конце стола, против Джи. Он был немного бледен, но спокоен и чрезвычайно вежлив с Гревилем. Во многих отношениях он был еще совсем дитя, но иногда, как и в данном случае, вел себя почти как взрослый. Сидя за столом, он спокойно смотрел на гостя своими темными глазами, хотя в душе он ненавидел его. После случая, который произошел в этот день, он не выносил Пана и презирал его, и не потому, что было задето его самолюбие, а потому, что до этого времени он верил, что взрослые, а тем более родственники, должны относиться к нему сердечно, Пан же своей насмешкой разрушил в нем эту веру.

«Правда, я испугался, но ведь я поборол свой страх, – думал он, – зачем же было надо мной насмехаться?»

С этого дня он избегал Пана, старался не оставаться с ним наедине и без нужды не вступал с ним в разговор.

Джи с Дорой, кончив завтрак, вышли, а Рекс продолжал сидеть с большим достоинством, вежливо дожидаясь, пока родственник его допьет свой кофе с коньяком и ему также можно будет идти.

– Что же ты будешь делать после завтрака? – небрежно спросил Гревиль.

– Не знаю, – ответил Рекс.

Как все дети, он не любил вопросов.

– Будешь читать или поедешь кататься?

– Я еще не придумал.

– Разве никто тебе не говорит, что ты должен делать?

– Нет.

Гревиля злило спокойствие Рекса, которое он принимал за высокомерие; он чувствовал, что в общении с Рексом он потерял почву под ногами, и сердился на него за то, в чем сам был виноват.

Рекс стоял спиной к окну; вдруг позади на террасе показалась фигура человека. На лице Гревия выразилось минутное изумление, потом он тихо сказал:

– А, Тони! – И, обращаясь к Рексу, добавил: – Твой отец.

Рекс быстро повернулся, побледнел как полотно и секунду стоял неподвижно, смотря на загорелое лицо человека, остановившегося перед ним. Потом он покраснел и шагнул к отцу:

– Я – Рекс, ваш сын.

Тони наклонился и поднял его. Потом как-то неловко и торопливо поставил назад на пол.

– Паскаль, скажи там всем, что я приехал. Паскаль вышел, а Тони сел и позвал Рекса:

– Подойди сюда.

Рекс подошел к отцу и положил руки на его колени. Они долго молча смотрели друг на друга.

– Вы редко писали, – сказал Рекс.

– Да, нечасто, я знаю.

Рекс сделал усилие, чтобы поддержать разговор:

– Скажите, вы представляли себе меня таким или нет?

– Ты чертовски похож на нее, – с трудом выговорил Тони.

Речь его стала какой-то нестройной, он совершенно разучился говорить. Последние четыре года он провел в местности, где, кроме него, не было ни одного белого человека на сто миль вокруг. Он уехал оттуда, потому что там вспыхнула эпидемия; отдал свой дом под больницу и направился к побережью. У него не было намерения возвратиться домой, но, доехав до порта, он нашел несколько писем от Джи, узнал, что в Англию как раз отправляется пароход, и решил побывать на родине. В Лондон он ехать не хотел, он стал слишком нелюдим, чтобы жить в таком большом городе, но страх пробил броню его бесчувственности, и вскоре он как одержимый мчался домой в Гарстпойнт. Тут он почувствовал себя как-то неловко.

Вошла Джи, вся покрасневшая, но, бросив на него быстрый взгляд, приветствовала его самой обычной фразой:

– Ты не завтракал?

– Нет, – ответил Тони.

– Я сейчас велю подать.

Вошел Уикгем с подносом в руках. Он чуть не заплакал от радости, увидав своего хозяина, но Тони едва кивнул ему головой, и приветствие старого слуги осталось без ответа.

Рексфорд с жадностью набросился на еду. Слуги на цыпочках столпились у дверей, желая поздравить его с приездом, но он только кивал головой, не произнося ни слова.

Джи посмотрела на Тони через стол, глаза ее блестели.

– Антоний, пожалуйста, послушай.

– Я слушаю, – ответил Тони, глядя на нее каким-то тупым взглядом.

– Так вникни в мои слова. Твое положение накладывает на тебя известные обязанности по отношению к твоим служащим. Вырази же им чем-нибудь свою благодарность на их приветствие. Скажи им хоть несколько слов.

– К чему?

– Да ведь этого требует порядочность; не забывай о твоём положении.

– Вздор, – ответил Тони как во сне.

Она в упор посмотрела на него; он стал совсем как первобытный человек; она поняла, что дальше уговаривать его бесполезно.

Джи встала и отошла к окну со слезами на глазах; она не могла бы в точности объяснить, что она чувствует, но ей было очень тяжело.

Потом она повернула голову и еще раз взглянула на Тони. Вся его осанка атлета исчезла; весь он, как и ум его, огрубел, съезжился. Он производил такое впечатление, как будто на него был наложен слой какого-то вещества, сквозь которое прежние его черты едва просвечивали; он не был толст, но весь обрюзг, лицо его загорело, глаза были воспалены от постоянного пребывания на солнце, руки стали толще, и видно было, что он ими не занимается.

Платье его имело какой-то фантастический вид. «Это бы еще ничего, – думала Джи, – платье можно сменить, а вот остальное! Ведь теперь мне здесь больше нечего оставаться. Но как

же дети, как Рекс – с таким отцом...»

Она беспомощно сжала свои руки; в первый раз в жизни она почувствовала на своих плечах тяжесть своих лет. Она опять повернулась к Тони.

– Антоний! – воскликнула она почти с отчаянием.

Что, Джи, дорогая?

– Что же ты намерен делать?

– Что делать?

– Ну да, ведь теперь ты дома; на тебе будет лежать обязанность воспитывать детей.

– Да, мне кажется, с ними благополучно. Я заметил правую ногу мальчика. Странно. Какая жалость.

Она засмеялась, но ей хотелось плакать; ей вспомнились все их бесконечные паломничества от одного врача к другому.

– Да, – сказала она, – но зато у Доры нет никаких недостатков.

– Хорошо. Надо мне повидать ее. Да.

– Я сейчас позвоню, чтобы ее позвали.

Пока ходили за Дорой, они не нарушали молчания.

Дора вошла быстрыми шагами и тотчас же увидела Рексфорда; она постояла секунду, глядя на него, потом стрелой бросилась к нему с широко раскрытыми глазами и полуоткрытым ртом. Она влезла на него, цепляясь за его одежду, и впилась в него глазами:

– Вы возвратились. О, это божественно! Джи, не правда ли, как хорошо? О Тони, разве вы не рады меня видеть? Нет, нет, я знаю, что вы должны быть рады. Тони, я люблю вас!

Безжизненное лицо Тони дрогнуло; он улыбнулся.

– Поцелуйте меня поскорее – крепко! – командовала Дора.

Она потерлась своей щекой об его щеку.

– Какой же вы стали колючий! Это потому, что вы были за границей. Это вы там так обросли... Тони, я катаюсь верхом, ведь правда, Джи? И я могу говорить по-французски. О, я люблю вас, милый, дорогой!

Джи оставила их вдвоем; ей было обидно за Рекса. Выходя, она услышала смех Тони, похожий на дикий рев. Никто не мог вызвать его улыбки, а Дора сумела заставить его хохотать; в скором времени они вышли и направились в парк.

Рекс пришел к Джи.

– Станный народ эти отцы, – глубокомысленно сказал он. – Я совсем не помню своего, но мне он кажется совсем не таким, каким должен быть отец. Как вы думаете, Джи? Конечно, Дора знала его раньше, это совсем другое дело.

Он постоял с минуту, наблюдая две удалявшиеся фигуры – отца и Доры.

– Как странно, что теперь всегда у нас в доме будет отец, – добавил он, говоря про отца как про какое-то колесо у телеги или другую какую-нибудь вещь, а затем он внезапно обнял Джи и страстно прижался к ней, как бы прося у нее защиты в своем несчастье. – Мы не любим сюрпризов, – прошептал он. – Вы всегда говорили, что они – сплошное недоразумение.

Когда Тони очутился в своей собственной комнате, прошлое обступило его со всех сторон. Сам того не замечая, он поддался коварным чарам «дома», под кровлей которого жили его предки и который ему самому достался по наследству. Он вновь испытывал чувство «родного очага», чувство столь сильное, что из-за него человек готов жертвовать счастьем и богатством, готов лететь из отдаленных стран, лишь бы не потерять права на него. Тони раньше не признавал, что ему недостает дома, теперь он это понял.

Он высунулся из окна, жадно впитывая в себя запах земли, и прислушивался, как шелестел плющ при слабом ночном ветерке; им овладело то неизъяснимое чувство, которое испытывает человек после сильного потрясения или при полной перемене места. Он теперь ясно признавал, какая громадная разница существовала между жилищем, которое он называл домом в Сайвунге, и его настоящим домом. Он еще видел перед собой остроконечную траву, подобную стрелам, блестящую при лунном сиянии, ему еще слышались глухие, таинственные, дикие звуки джунглей, а здесь – какой контраст! Розы распускались, освещенные звездами, и с полей доносился звон колоколов.

Но даже в этом покое он не находил полного удовлетворения; он не испытывал еще непосредственной близости, окончательного слияния с окружающей его новой обстановкой и чувствовал себя в положении человека, который, расставаясь с чем-нибудь и признавая, что расставание не дает ему ничего, кроме облегчения, все же сожалеет о том, что он покидает. Он чувствовал себя теперь еще более одиноким, чем когда-либо. Он прошелся по комнате; на стене висел портрет Франчески, а под ним фотография Рекса.

Он посмотрел на лицо Франчески.

Нельзя было сказать, что он забыл ее, но за последний год он вспоминал ее нечасто. Целых восемь лет с тех пор, как ее не стало.

«Какая она была хорошенькая, – подумал он, – такая же красивая, как на портрете».

К нему опять вернулось сознание обрушившегося на него несчастья.

К чему вспоминать!

За последнее время он выработал в себе особую сноровку: когда он не хотел о чем-нибудь думать, он как-то захлопывал в своем мозгу особую дверку и не пропускал в нее назойливых мыслей. Так он поступил сейчас.

Это было необходимо, иначе сознание своего одиночества подступало к нему со всех сторон, и это было ужасно. Иногда, впрочем, и эта уловка не помогала, и мрачные призраки протягивали к нему из темноты свои руки.

Он стал смотреть в парк, над которым раскинулось темное небо, усыпанное звездами, как драгоценными камнями.

В течение своего пути он ставил перед собой цель вновь заняться своими фермами, вести хозяйство и жить только для этого. Теперь ему было приятно сознание, что он может все это осуществить.

Внезапно ему вспомнился Паскаль. Ему показалось странным, что его чувство к Паскалю не изменилось. Пан совсем не подходил к его теперешнему настроению, вот Чарльз – другое дело; его бы он повидал с удовольствием.

Гревиль сказал Джи с лукавой улыбкой:

– Его пример отнимает всякое очарование, которым окружают «разбитые сердца».

– Он атрофирован, – быстро ответила Джи. – Это трагедия, и я не нахожу в этом ничего забавного.

Ее страшно тревожила мысль о том, что будет дальше; она мучилась за Рекса и за Дору, которую она тоже успела искренне полюбить. Она знала, что ей придется очень скоро поднять вопрос о своем отъезде, и не могла примириться с тем, что ее любимец Рекс будет находиться в зависимости от такого отца.

Всю ночь она пролежала без сна, а утром, лишь только она начала засыпать, – так, по крайней мере, показалось бедной Джи, – пришел Рекс.

Он приходил к ней каждое утро, когда ей подавали чай, и сегодня, по своему обыкновению, явился босиком в своей пижаме.

– Мне нравится, как у вас пахнет, – сказал он, вступая в разговор, – в вашей комнате пахнет, как и от вас самой, сандаловым деревом и цветами.

Он соскользнул со своего стула, немного прихрамывая, подошел к ее туалетному столу и попрыскал на себя из пульверизатора жасминовыми духами.

– Я люблю смотреть на вас, когда вы в постели, – заметил он. – Вот Эмилия – совсем другое дело, она в постели прямо страшная.

– В самом деле? – рассеянно сказала Джи.

– Да, в самом деле; у нее в волосах бумажки, а вы такая прелесть!

– Ты льстишь мне.

– А разве вы это не любите? – спросил он, запуская ложку в вазочку с вареньем.

Джи рассмеялась; он был такой забавный, и все в нем было так мило и естественно.

Он посмотрел на нее, облизывая ложку.

– Ну, вот это хорошо; я страшно люблю, когда вы смеетесь: у вас глаза блестят как черные звездочки.

– Разве ты когда-нибудь видел черные звезды? – спросила Джи, делая вид, что рассматривает письмо.

– Нет, но я могу их себе представить.

– Ты можешь еще что-нибудь представить себе похожим на черные звезды?

– Да, зрачки глаз Доры. Дора хорошенькая, на нее тоже приятно смотреть.

– Мой друг, ты рано начинаешь!

– Что рано? Можно съесть еще сухарик?

– Да, но ты испортишь себе аппетит к завтраку.

– К нашему завтраку не дают сухариков и такого варенья, так что это ничего.

Съев сухарик, он спустился немного со стула и припал головой к плечу Джи. Эта детская ласка обдала ее волной нежности.

– Почему вы выбрали эту лиловую шелковую кофту? – спросил он, теребя оборку ее жакетки. – И отчего в ваших волосах бант такого же цвета?

Джи рассмеялась:

– Милый мой, я стара и все-таки, как и в молодости, хочу казаться красивой. Даже больше, чем в молодости. И оно так и должно быть. Ты знаешь, наше тело – в некотором роде храм, и мы должны заботиться о его красоте. Что касается моего, я забочусь, чтобы от него пахло духами, которые ты любишь, и украшаю его лиловыми лентами.

– Храм... – задумчиво сказал Рекс, рассматривая свои ноги. – Джи, а какие у меня украшения?

– Тебе, кажется, очень нравится твое пальто и темно-синий галстук, который мы купили в Париже.

Раздался звонок.

Рекс выпрямился и обнял Джи за шею.

– Мне пора идти, дорогая.

Они поцеловались, и он прижался щекою к ее серебристым волосам, около самого лилового банта.

– Я люблю вас.

– И я тебя тоже.

Он выпустил ее и соскользнул на пол.

– Ну, ладно. Теперь, вероятно, будут чистить и мыть мой храм.

Джи смеялась до слез.

– Да, надо надеяться. А потом укрась его в мою честь белым фланелевым костюмом и синим парижским галстуком.

– Прекрасно, дорогая.

Он вышел, прихрамывая, и стал звать Эмилию. Вошла Суит, чтобы одеть Джи; вид у нее был еще мрачнее, чем обыкновенно.

– Теперь будут печальные перемены, – сказала она, как бы смакуя свои слова.

Она искренне жалела свою хозяйку, но у нее была такая натура, что горе для нее было источником самого большого удовольствия; есть такие люди, которые любят слушать только погребальные гимны и для которых приятнее пойти на похороны, чем на бал.

Взглянув на Джи, она заметила, что в этот день ей можно было дать те года, которые она действительно имела; это редко с ней случалось. Джи потребовала помаду (карандаш и помада были единственными «помощниками» ее в деле сохранения молодости) и стала подводить себе губы, что также было дурным предзнаменованием, так как обычно эти «помощники» пускались в дело только вечером.

– Да, мадам, можем ли мы предвидеть, что готовит нам будущее? – сказала Суит.

– А что такое? – сердито отозвалась Джи.

– Лорд возвратился совсем не таким, как уехал, он стал очень странным.

– Смерть его жены была для него страшным ударом.

– Да, немногие остаются верны памяти на такой долгий срок. Это было бы большим облегчением знать, что нас будут так долго помнить.

Она начала причесывать Джи и с каждым взмахом щетки вставляла какое-нибудь замечание по поводу их жизни в Гарстпойнте.

– Все планы изменятся... какая странная жизнь... совсем точно проснешься после сна... Семь лет... Лорд потолстел... Я спрашиваю себя, что же теперь будет... Опять скитальцы...

– Суит, поспешите, – резко сказала Джи. Тот же самый вопрос мучил и ее:

«Что теперь будет?»

Попросит ли ее Тони остаться и быть в доме? Сначала она думала, что она может рассчитывать на такое внимание с его стороны, но потом убедилась, что он забыл самое значение слова «внимание».

Она должна выяснить этот вопрос не откладывая; если случится худшее и ей придется уехать, Пойнтерс не так далеко. Рекс может часто навещать ее. Но ей будет недоставать его утром и по вечерам, да и всегда.

Она вышла в столовую и застала Тони и Дору за завтраком.

– Тони говорит, что я могу сегодня покататься верхом, – сразу выпалила Дора. – Он будет учить меня ездить верхом и охотиться. Какая радость, что вы вернулись, Тони, дорогой!

После завтрака, когда Рекс со своим репетитором и Дорой ушли, Джи решительными шагами подошла к Тони.

– Мне кажется, что нам надо объясниться, – сказала она.

Пан уже раньше заявил, что он в тот же день уезжает в город, а оттуда – Бог весть куда.

Тони, по обыкновению, молчал, и, когда Джи намекнула о своем намерении вернуться в

Пойнтерс, он спокойно сказал:

– Я отвезу вас.

Джи онемела от удивления. Семь лет – более семи лет своей жизни она посвятила всецело интересам Тони, правда, его доверенные и приказчики работали в имении, но она за всем присматривала. И наконец, дети – Дора и Рекс...

Перед ней встал тот памятный вечер, когда Тони приезжал просить ее помощи. Каким он тогда показался ей скучным и отупевшим от горя: она не заметила, что это происходило только от его ограниченного ума.

На самом деле это так и было; он страдал вовсе не оттого, что гнался за какой-нибудь недостижимой мечтой. Никакой мечты у него вовсе не было, и чувства его просто понемногу онемели; но эта бесчувственность, безучастность вовсе не были результатом пережитого страдания – просто это было благодушное прозябание, без всяких воспоминаний, без определенной цели...

– Благодарю, – ответила ему Джи, встретив его тупой взгляд. – Я скажу Суит, чтобы она укладывала вещи; я думаю, что я могу выехать до чая.

Она нашла Рекса, и они вдвоем пошли в розовый сад; Джи уселась на каменную скамью, а Рекс растянулся на траве.

– Я возвращаюсь сегодня в Пойнтерс, – сказала она ему.

– Почему? – быстро спросил он.

– Твой отец возвратился, и теперь он присмотрит за вами; так будет лучше.

– Но я не хочу этого, – сказал Рекс, вскакивая на ноги. – Вы слышите, Джи, я не хочу!

«И я тоже», – чуть не сказала Джи; вместо этого, стараясь говорить возможно спокойнее, она сказала:

– Пойнтерс совсем близко.

– Да, но в Пойнтерсе нельзя завтракать в постели, нельзя целоваться вечером, когда идешь спать, и все такое, а это самое главное. Джи, родная, я огорчен, я ужасно огорчен...

– Родной мой, не надо, – умоляла его Джи. Мысль, что ей придется расстаться с ним, была ей невыносима; она чувствовала, что ничто ей не заменит эту задушевную близость, которая установилась между ней и этим ребенком, отдавшим ей всю свою любовь, всю свою нежность.

Она постаралась утешить Рекса описанием их будущих встреч.

– Отец не таков, чтобы мне хотелось остаться с ним, – откровенно сознался Рекс.

– Ты еще не знаешь его.

– Нет, но я думаю о нем, и только это приходит мне на ум.

Позднее, когда они остались вдвоем с Дорой, между ними произошел спор относительно отъезда Джи.

– Джи уезжает, но зато приехал Тони, и, таким образом, равновесие не нарушается, – сказала Дора.

Рекс посмотрел на нее и с убеждением сказал:

– Ничто не может уравновесить потерю того, кого любишь.

– А разве ты не любишь Тони?

– Нет.

– Но ведь это твой отец!..

– Конечно, но это не имеет значения. Дора сдвинула свои тонкие брови.

– Рекс, но это должно иметь значение. Она посмотрела на сжатые губы Рекса.

– Я люблю его, как никого, – сказала она.

– Ты имела время полюбить его, – неожиданно сказал он и больше не хотел спорить об этом.



Все отправились проводить Джи в Пойнтерс. Когда они возвращались, Рекс задержался дольше всех, чтобы еще раз поцеловать Джи, а потом бегом догнать остальных, когда они садились в экипаж.

Оставшись одна, Джи нашла на своей подушке букет из роз, завернутый в бумагу, на которой было написано: «В знак любви от обожающего Рекса».

К тому времени, когда Доре минуло семнадцать лет, Рексфорд преобразил Гарстпойнт в такое место, где лишь ели и спали, если только не занимались охотой, стрельбой, рыбной ловлей или каким-нибудь другим, подходящим к сезону спортом. Ему помог достигнуть такого результата друг его, Фостер Пемброк, вдовец, который, как и Рексфорд, любил только самого себя и спорт. Впрочем, у него было одно преимущество перед Тони: он обладал даром слова и был очень начитан. Дора и Рекс любили его и охотно слушали; он постарался привить и им любовь к книгам и руководил выбором их чтения. Правда, часто случалось, что выбор его бывал не вполне удачен и не подходил к их возрасту, но ни он, ни они этого не замечали, да и не могли заметить в таком доме, где правили одни мужчины, а единственная женщина, имевшая в нем влияние, по своим взглядам и понятиям принадлежала к отжившему уже поколению.

Образование Доры и Рекса носило случайный характер; они учились урывками, когда находился подходящий учитель, когда Рекс был здоров и когда у Доры оставалось свободное время от охоты, стрельбы в цель и катанья.

Единственное, чем она занималась серьезно, было пение. Этого потребовала Джи, и она же нашла учителя, который раз в неделю приезжал из Лондона. Голос девушки обещал быть великолепным, и у нее был очень развит музыкальный вкус.

Для Тони она пела что угодно, без разбора; он слушал ее, сидя за стаканом портвейна, и шумно выражал свой восторг, а Пемброк критиковал ее исполнение.

Рекс и Джи имели преимущество в том смысле, что слушали вещи, которые она сама больше всего любила, – испанские песни и романсы Грига, Лассена, Шаминада.

Учитель пения Кавини, приезжавший еженедельно в Гарстпойнт, приходил в восторг от голоса Доры. Он говорил Джи:

– Это божественный голос, вы понимаете, – в нем есть все. За нее не боишься... Какая потеря для оперы! Это преступление, это грех не использовать такой голос!

Джи не спорила; конечно, ее племянница, хотя она была таковой только по усыновлению, не могла петь публично; об этом не стоило и разговаривать.

Рекс спросил Дору:

– Хотела бы ты петь в опере?

Дора, злившаяся по поводу неудачного нового платья, рассеянно ответила:

– Пожалуй, это было бы интересно. В особенности петь Кармен или Миньону... Ах, этот портной – он просто сумасшедший!

– Перестань сердиться, – сказал Рекс.

Он не пользовался таким блестящим здоровьем, как Дора; ему часто нездоровилось, он чувствовал себя разбитым. Он терпеть не мог быть больным и, когда это случалось, всегда бывал в плохом настроении.

Отец иногда случайно заходил к нему и начинал говорить, что ему надо закалиться и ходить как можно больше, на что мальчик вяло отвечал: «Хорошо, отец».

Для него не была тайной ограниченность ума Тони, а потому он довольно безразлично относился к его суждениям. В общем, у него не было никакого определенного чувства к отцу; между ними не было разногласий лишь потому, что они никогда не спорили, да с Тони редко и можно было поговорить наедине. Пемброк или кто-нибудь другой из его друзей-спортсменов всегда бывали с ним, и, если он сидел дома, что иногда с ним случалось, он целый день дремал или пил, а если разговаривал, то только с Дорой.

Он любил ее и гордился ею; он ни в чем ей не отказывал и только просил ее, чтобы она

делила с ним его страсть к спорту. В семнадцать лет она знала жизнь меньше, чем другая девушка в тринадцать, зато в лошадях и собаках понимала больше, чем мужчины в тридцать. Она была красива и стройна, чудесно ездил верхом, стреляла и ругалась, как мужчина, и прыгала, как мальчишка. Если бы ей подстричь волосы, ее можно было бы принять за мальчика.

Рекс был не намного выше ее. Он был очень тонок, но в плечах достаточно широк, и его светлые волосы и темные глаза, брови и ресницы делали его наружность незаурядной. Кроме того, костюм его носил особый, личный отпечаток, что очень поощряла Джи, которая продолжала его баловать. Ей было уже около восьмидесяти лет, но характер ее оставался таким же властным.

Рекс обожал ее, не имел от нее никаких секретов, и Джи, со своей стороны, была с ним вполне откровенна; между ними царило полное согласие, чему нисколько не препятствовала разница лет, а также разница понятий и взглядов.

Воззрения Джи были привиты ей еще предыдущим поколением, во времена ее молодости, когда мужчины презирали криводушие, когда честь считали необходимой принадлежностью каждого, а не каким-нибудь особым отличием, когда взгляды были узки, но зато нравственные требования очень широки, когда каждый старался быть простым, веселым и остроумным.

Рекс, наоборот, всецело принадлежал к своему веку, он был вполне современен, и тем не менее взгляды Джи казались ему привлекательными, и манеры ее ему нравились.

Несмотря на его молодость, у него выработались уже вполне определенные понятия об обязанностях, которые накладывает общественная жизнь. Часто у него происходили споры с Дорой, но у той еще не было установившихся взглядов, или, вернее, они были так неопределенны, что уловить их было столь же трудно, как поймать на ложку падающий лист. Сегодня она была социалисткой, завтра неистовым консерватором, позднее – и тем и другим одновременно, и все в таком же роде.

Ее происхождение имело для них обоих особое очарование.

– Когда-нибудь мы все отправимся в Испанию, – сказала Дора. – Тони свезет нас туда.

– Как это будет романтично! – сухо сказал Рекс.

– А что же, ведь он романтик; он вообще совсем не тот, каким ты его считаешь, – запротестовала Дора. – Я знаю, я чувствую это, потому что я его люблю, а ты нет.

– Может быть, это происходит оттого, что ты наделяешь людей, которых ты любишь, теми качествами, которые тебе нравятся, – рассудительно заметил Рекс.

– Ну так что же? Это только облегчает дело! – засмеялась Дора, а потом серьезно добавила: – Но относительно Тони я права.

Разговор этот происходил в комнате Рекса, где он лежал в постели после ушиба, полученного на охоте. Он не продолжал спора; в конце концов, ему было все равно. Настроение у него было скверное, как всегда, когда он бывал болен.

Дора пришла выпить с ним чаю и стояла у окна. Тусклый ноябрьский день приближался к концу, и погода казалась еще более мрачной благодаря контрасту, который производил яркий огонь, пылавший в камине.

– Ты сказала, чтобы принесли печенья? – спросил Рекс, поднимая растрепанную голову с подушки.

– Да. Лучше тебе, милый?

– Нет, неважно.

– Какая досада, что ты не заметил этого плетня. Не зажечь ли свет?

– Нет, еще слишком рано.

– Болит голова?

– Да, немножко.

Она подошла к нему и положила свою прохладную руку ему на лоб.

– О, вот это приятно! – сказал Рекс с легким вздохом. – Какие у тебя отличные духи, что это такое?

– Джи дала мне их; она говорит, что женщина должна понимать в духах и употреблять их с разбором.

– Я очень одобряю твой сегодняшний выбор, – пробормотал Рекс. – От тебя пахнет, как от жасминовых цветов вечером.

– Я бы хотела уметь говорить так, как ты, – воскликнула Дора, – у тебя очень красивые слова! Да, и я думаю, что это главным образом оттого, что ты так много читал.

Дора засмеялась и растрепала своими тонкими пальцами его золотистые волосы.

– Оставь, не надо, – запротестовал Рекс. – Я ненавижу, когда красивые делают некрасивые вещи.

– А ты в самом деле считаешь меня красивой?

– Да, и ты сама тоже считаешь себя такой.

– Иногда я сама себе не нравлюсь, – сказала Дора. – Есть девушки другого типа, красивее, например Дафна Кэрю – такая беленькая, с золотыми волосами; какая она хорошенькая!

– Да, и совсем обыкновенная, а нас влечет к себе необыкновенное. У тебя же замечательные, зеленые глаза. Очень мало людей, имеющих действительно зеленые глаза. Про них говорят, о них пишут, но никогда их не встретишь. Я говорил об этом с Джи, и она со мной согласна. У тебя такие же зеленые, как... – он подыскивал сравнение, – как море в тихий, жаркий день. Ты, наверно, замечала это. В Корнваллисе я думал о твоих глазах. Я стоял на утесе и смотрел вниз на залив, освещенный лучами солнца: он был настоящего светло-зеленого цвета, какими бывают твои глаза при известном освещении. При другом же свете бывают темно-зелеными с отблесками, точно звездами в них: жасминовые лепестки на жасминовых листьях. Мне бы быть поэтом; впрочем, и сейчас еще не поздно.

Они оба засмеялись.

– Хотел бы ты писать? – спросила Дора.

– Нет. Я хотел бы только делать все то, что делаешь ты, а между тем я так скоро выбиваюсь из сил.

– Ну, что ты! – сказала Дора, утешая его. – Всякий слег бы после такого толчка, какой ты получил вчера. Со всеми может случиться несчастье.

Дора зажгла папироску и подала ему. Рекс вообще делал, что хотел, Тони нисколько не вмешивался в его дела. Если бы ему вздумалось выпить за завтраком коньяку, Тони, по всей вероятности, не только не запретил бы ему, но даже и не заметил бы этого.

Впрочем, пока у Рекса не было никаких дурных привычек, кроме курения, которое не вредило его здоровью и не мешало ему в пятнадцать лет быть почти шести футов роста.

Огонь весело горел в камине, ярко освещая комнату. Рекс посмотрел вокруг, и взгляд его с любовью остановился на некоторых предметах; он собрал сюда из других комнат вещи, которые ему особенно нравились: около окна стоял красивый комод, а рядом с камином бронзовый, обитый красивыми гвоздиками дорожный сундук, принадлежавший еще в шестнадцатом столетии какой-то итальянской даме.

Стены были украшены картинами, изображавшими бокс и знаменитых боксеров, а между ними висели портреты родственников – дядей и тетушек.

Кровать была с четырьмя резными колонками, видневшимися из-под откинутых занавесок.

Мягкий, сырой воздух, врывавшийся в открытое окно, мешался в комнате с табачным дымом от папиросы Рекса.

– Позвони, чтобы дали чай, – сказал Рекс, – должно быть, уже поздно.

Он поднялся выше на подушках; на нем была великолепная, индийской работы, жакетка, подаренная ему Пемброком, который иногда делал подарки ему и Доре. Подарки эти не покупались, а извлекались им из имевшихся запасов. Рекс очень любил свою индийскую жакетку; она была голубого цвета, и вышита поблекшими золотыми нитями, и украшена пуговицами странной формы. На фоне голубого атласа лицо его казалось очень худым и бледным.

Вошла Эмилия, а следом за нею слуга внес поднос с чаем.

Эмилия не изменилась за это время. Она была полна, лицо ее было бронзового цвета. Улыбаясь, она показывала белые зубы; она была по-прежнему предана Доре.

Рекса она любила, а Дору обожала.

Она принесла Доре другие башмаки и тотчас встала на колени и начала разувать ее. Дора протянула ей ногу и, чтобы сохранить равновесие, оперлась на руку Рекса.

– Вы ангел, Нэнни, – сказала она ей с видом ребенка, привыкшего к баловству. – И в награду вы должны пить с нами чай; не правда ли, Рекс?

– Конечно, – согласился Рекс.

Эмилия покраснела от удовольствия; ее радовало побыть со своими питомцами, хотя они теперь уже не нуждались в ее присмотре.

Дора уселась на большой стул.

– Крепкий, как смерть, сладкий, как любовь. Три куска сахара и кусочек лимона, пожалуйста, – весело командовала она, – и только намек анчоуса на кусочке лепешки, толсто намазанной маслом. Этого пока хватит.

Между двумя кусками лепешки она спросила Рекса:

– Ты рад, что не можешь обедать внизу? Он секунду посмотрел на нее, а потом сказал: – Ты думаешь – из-за того, что приезжает Пан.

Да, я не желаю.

– Там предстоит большая стычка, – сказала Дора.

– Как бы то ни было, развод – дело нехорошее, – задумчиво сказал Рекс.

– Тони взбешен всем этим. Рекс усмехнулся:

– Наверно, он произнес свои две фразы: «Чертовски нелепо» и «Хорошая каша» – и замолчал. Или, может быть, он недостаточно рассержен, чтобы вдохновиться и на такое красноречие!

– Ты не имеешь понятия, Рекс, как ужасно он все переживает.

– А, так, значит, взаимное сходство между чувствами и их выражением?

Дора стала вся пунцовая.

– Уметь болтать остроумно еще не очень много значит, и, наоборот, есть немало людей, которые не умеют говорить и все-таки знают очень много.

– Согласен, – сказал Рекс примирительным тоном, – признаю себя побежденным.

Чай продолжался без дальнейших разногласий.

– Сколько времени пробудет здесь Пан? – неожиданно спросил Рекс.

– Не знаю; до тех пор, пока Тони не устроит все это скучное дело.

– Это не займет слишком много времени. Отец задаст ему два вопроса. Пан ни на один не даст прямого ответа, и останется только вопрос о деньгах на расходы Пана. Я уверен, все сведется к этому.

– Да что, в сущности, случилось?

– Ну, что ж, Пан женился на этой девушке, она ему надоела, потом была дуэль или что-то в этом роде, и его выгнали с дипломатической службы. Теперь он остался без жалованья, без дела и, я полагаю, без хорошего настроения.

– Ты ненавидишь Пана, не правда ли? – лениво спросила Дора.

Рекс беспокойно зашевелился. Он обладал большой выдержкой и умел скрывать свои чувства.

– Конечно, нет, – сказал он, – теперь это было бы слишком по-детски.

– Да, мы теперь такие уж взрослые.

– Что касается меня, я страшно стар для своих лет, – весело сказал Рекс.

Вошла Джи, и комната сразу озарилась светом; она опиралась на палку, и это было единственным признаком ее подчинения могуществу лет.

Лицо Рекса расцвело от удовольствия, и он приподнялся на постели.

– Дорогая, как мило с вашей стороны навестить меня, – сказал он радостно, – какой приятный сюрприз! Эмилия, позвоните, чтобы дали еще чаю и миндального печенья, а ты, Дора, сходи, пожалуйста, в классную за большими розами, что там стоят, Джи будет приятно посмотреть на них.

Джи села около него.

– Опять расклеился?

Он утвердительно кивнул головой и улыбнулся:

– Да, но я даже рад этому происшествию, раз оно привело вас ко мне. Вы слышали, Пан приезжает сегодня вечером?

– Скверная история! – коротко заметила Джи.

– Я того же мнения, – согласился Рекс, – Джи, действительно это некрасивое дело?

– Да, непростительное, по нашим понятиям. Дора возвратилась с розами.

– Посмотрите, какие они очаровательные, – сказала она.

Она на минуту остановилась, устраивая их под висячей лампой, свет от которой, по мере того, как она двигалась, водил нежные тени по ее лицу, казавшемуся то золотым, то розовым; волосы ее блестели, от ее зеленых глаз, когда она с улыбкой смотрела на Джи и Рекса, исходило сияние.

– Правда, они очень хороши, – сказала Джи, когда девушка положила розы перед нею.

Рекс тихонько свистнул, встретившись глазами с Джи.

– Я тоже так думаю, – сказала она ему, улыбаясь.

– Разве это не удивительно, – сказал он, затаив дыхание, – как вы сразу догадываетесь?

Джи стала изучать его лицо, в то время как он снова посмотрел на Дору, сидевшую теперь на ковре перед камином; она ела сама и кормила внука Ника, молодого восьмимесячного щенка, булкой, на которую был положен «только намек» анчоуса.

На ней была охотничья юбка и шелковая блуза с черным галстуком; волосы ее были заплетены в одну толстую косу и перевязаны темным бантом. Нельзя было назвать ее нарядно одетой, но, сидя перед огнем, который играл на ней золотыми и пурпурными тенями, она являлась воплощением молодости и нежной свежести.

Она начала причесываться «наверх» с последнего дня своего рождения. Эмилия специально ездила в Лондон учиться делать прическу и теперь производила это артистически.

– Я должна покинуть вас, мои дорогие, – сказала Дора, взглянув на них и наматывая ухо Ника-младшего на свой тонкий пальчик. – Тони сказал мне, чтобы я пришла пораньше. Когда я оденусь, я приду показать вам мое новое платье: оно все белое с серебром. До свидания еще раз!

Лишь только дверь закрылась за ней, Рекс сказал:

– Не правда ли, как странно, что мы оба в одно и то же время подумали то же самое?

– Просто у нас обоих одинаковый вкус; мы любим прекрасное, а Дора, несомненно, красива; мы и раньше это с тобой находили.

Рекс, лежа на спине, думал.

– Вы знаете, – вдруг сказал он, – сегодня – я не могу объяснить вам почему, – но мне это представляется каким-то другим; я чувствую это сильнее.

Джи взглянула на его сосредоточенное лицо. Он напряженно смотрел в огонь, повернувшись боком к ней: ей виден был его тонкий, почти аскетический профиль, нежные черты лица, плотный подбородок и решительный рот. Сердце ее сжалось, когда она вспомнила, какое счастье отразилось на его лице при взгляде на Дору. Конечно, он был еще мальчик, а она – почти девочка, но...

Одна мысль о том, что он может быть несчастен, была ей невыносима. «А впрочем, – подумала она, – как все это проблематично. Зачем загадывать так далеко?»

Дора медленно спускалась с лестницы. Было еще немного рано и, кроме того, в новых парчовых башмаках с высокими красными каблуками трудно было идти быстро.

Снизу, из залы, наполовину скрытый тенью, падавшей от старого знамени, Паскаль Гревиль наблюдал за нею.

Красота ее сразу поразила его. Дора на минуту остановилась поправить оборку юбки, и Паскалю показалось, что кожа ее еще белее ее платья. Он быстро подался вперед и стал так, чтобы свет прямо падал на него; ему уже раньше приходилось проделывать это, и он знал цену первого впечатления.

Он не ошибся. Настоящая красота не может остаться незамеченной, а у Доры в высшей степени было развито чувство прекрасного, и вид Пана доставил ей наслаждение.

Он что-то сказал ей. Она засмеялась, покраснела и воскликнула:

– Пан!

Гревиль взял ее за руку:

– Дора!

Он не сразу выпустил ее руку и секунду молчал, а потом сказал:

– Выросли, стали совсем другой!

– О нет, не совсем еще, – сказала Дора, немного конфузясь.

– Ну, хорошо, – он быстро развел своими изящными загорелыми руками, – что же теперь сказать? Я помню Алису из «Страны чудес», а нахожу Афродиту.

– Обе начинаются с «А», – скромно заметила Дора, – как бы то ни было, есть сходство.

Гревиль машинально рассмеялся; он был положительно уничтожен ее красотой и молодостью. Он вдруг почувствовал себя очень хорошо; не было больше той скуки, того недовольства, которые томили его последние годы. Ему знакомо было это переживание, но он давно его не испытывал.

Дора между тем изучала его. Он это сознавал, и это доставляло ему удовольствие.

Она думала, как странно встретить красивого мужчину, и действительно, Гревиль заслуживал этот эпитет. Черты его лица и форма головы были безукоризненны. У него были немного странные, но очень привлекательные темно-золотые глаза и почти черные волосы. Несмотря на легкий загар, кожа его была очень нежна, а улыбка прямо очаровательна.

Он был высок, широк в плечах и вообще имел наружность спортсмена. Дора с удовольствием заметила, как он хорошо сложен. Окружавшие ее мужчины – Тони и Пемброк – в этом отношении не удовлетворяли ее вкуса, а Рекс почти не шел в счет.

Кроме того, слух о разводе Паскаля не мог не привлечь к нему внимания. Несчастливая любовь вообще возбуждает интерес, а по отношению к Гревиллю ее можно было предположить особенно легко, так как женщины всегда интересовались им, обожали его и баловали. Для него это, конечно, не было тайной; он отлично знал силу обаяния своей личности и могущество каждого взгляда. Он ехал в Гарстпойнт крайне неохотно, предвидя, что ему придется тут скучать, и ехал лишь потому, что ему нужны были деньги, а он знал, что только Тони мог дать их ему.

Брак его, состоявшийся десять лет назад, был сплошной неудачей. Он женился на несчастной итальянской маркизе исключительно потому, что иначе ему пришлось бы отказаться от дипломатической карьеры. Впрочем, то, чего он избег тогда, все равно его не миновало. Он и сейчас покидал свой служебный пост помимо своего желания, и это в особенности раздражало его, так как самой служебной деятельностью он не дорожил. Но, хотя,



с одной стороны, эта отставка и была ему неприятна, с другой стороны, он был счастлив, что, наконец, отделался от Бьянки, которую он когда-то сравнивал с Примаверой и Семирамидой, но только не с Афродитой: она была некрасива, и в их браке ему приходилось быть красивым за двоих.

Он поздоровался с Тони и Пемброком, продолжая смотреть на Дору. Тони старался поддерживать в доме известную роскошь, и Гревиль находил, что серебряная посуда, темная скатерть, вышитая красными и белыми орхидеями, и вообще вся обстановка очень подходили к Доре.

Она сидела на конце стола против Тони, и дубовые панели стен служили прекрасным фоном для ее нежной белизны.

Гревиль задумался о ее глазах; он как-то совсем забыл о них и теперь был страшно поражен, увидев действительно совершенно зеленые глаза под черными, точно нарисованными бровями.

Делая вид, что слушает охотничий рассказ Пемброка, он в то же время старался припомнить, в каких стихах описаны глаза, подобные Дориным. «Кажется, у Бодлера: «Yeux verdatres – sorciere aux yeux allechants...» Кто-то из поэтов воспел их; нужно будет найти это стихотворение и прочесть его Доре. «Сколько ей лет? Семнадцать, восемнадцать? Во всяком случае, достаточно».

Дора встала.

– Останься с нами, выпей чего-нибудь, – попросил ее Тони.

К удивлению Гревия, она осталась, но пить не захотела, а только держала свой стакан с вином перед светом и смотрела на красный отблеск от него на своей руке.

– Споешь что-нибудь? – спросил Тони. Они перешли в гостиную.

– Вы поете? – заинтересовался Пан.

– Она берет уроки у Кавини, – небрежно заявил Тони.

Гревиль был поражен: Кавини был известный маэстро, и брать у него уроки было большой честью.

– Что же спеть мне, Тони? – спросила Дора, садясь за рояль.

– Что-нибудь, – рассеянно сказал Тони, – что тебе нравится.

Раздались первые ноты григоровской пьесы «Время и Вечность». Не отдавая себе в этом отчета, Дора во время пения остановила свой взгляд на Гревиле, и он впился в нее глазами. Уже много лет, со времени своей юности, он не испытывал такого чувства, как в эту минуту; он весь дрожал, и глаза ему застилал туман. Голос у Доры был богатый и замечательно чистый; она пела великолепно, без малейшего усилия и вместе с тем с большой теплотой.

«А что же будет, когда она начнет чувствовать, – думал Гревиль, – и вложит это чувство в свое пение!...»

Романс был окончен. Он услышал, как Пемброк делал какие-то замечания, а Дора ему отвечала. Потом она запела снова, на этот раз какую-то французскую песенку про «belle marquise», которую звали Фифинелла; она кончила, рассмеялась и встала.

– Ну, довольно.

– Очень хорошо, моя дорогая, – сказал Тони, – вот что значит Кавини, Пан!

– И очень красивый голос, – внешне спокойно сказал Пан. – Он круто повернулся к Доре: – Вы любите петь?

– Обожаю.

– И ездить верхом тоже?

– У вас удивительная память, Пан.

– Не во всем, – ответил он, глядя на нее потемневшими глазами, – но есть вещи, которых

нельзя забыть.

Внезапное смущение охватило Дору и помешало ей сразу ответить. Ей показалось, точно она осталась наедине с Гревилем, а остальные – Пемброк и Тони – отодвинулись куда-то вдаль.

Пан странным образом нарушил течение ее мыслей, и она почувствовала, точно в известном отношении стала старше и одновременно в другом отношении – моложе.

Он закурил папиросу и, продолжая держать горевшую спичку, свет от которой освещал ее лицо, посмотрел на нее блестящими глазами и тихо спросил:

– Почему вы покраснели, Афродита?

– Разве я покраснела? – спросила Дора.

– Да, очаровательно. Наверно, есть какая-нибудь причина.

Дора серьезно взглянула на него.

– Я, пожалуй, немного смущена, – сказала она, – вы знаете, так много времени прошло с тех пор, как вы были здесь...

– И теперь я кажусь вам другим, и вы тоже, – быстро закончил Гревиль, – и эта разница приводит вас в смущение, не так ли?

– Я думаю, что так, – пробормотала Дора. Тони позвал ее, и она подошла к нему.

– О чем это вы шепчетесь с Паном? – спросил он.

– Мы говорили о неожиданностях жизни, – кротко сказал Гревиль.

– Тебе, должно быть, нетрудно рассуждать об этом, – насмешливо согласился Тони и потом, кивнув головой Доре, сказал ей: – Пора тебе идти спать, дорогая моя.

Гревиль отворил ей дверь и проводил ее до лестницы.

– Спите спокойно, Афродита, и постарайтесь привыкнуть к разнице. Я хочу, – он немного сжал ее пальцы, – я хочу, чтобы вы совсем привыкли ко мне.

Он подождал, пока она дошла до верха лестницы, и, стоя на том же месте, с улыбкой крикнул ей:

– Спокойной ночи.

Она постояла минутку, потом постучала в дверь Рекса.

– Как провела время? – с участием спросил Рекс. – Я слышал, как ты пела; мне очень понравилось. Каков Пан – такой же, как и раньше?

Дора не сразу ответила ему, и он повторил вопрос в несколько иной форме:

– Что Пан, такой же противный? Я уверен, что да: тягуче остроумен и совершенно равнодушен ко всем нам.

– Он держал себя вполне корректно, – с усилием проговорила Дора.

– Ты устала?

– Да, день был какой-то душный. Рекс вздохнул и взял со стола книгу.

– Ну, так я думаю, тебе лучше пойти спать. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи.

Придя в свою комнату, она почувствовала себя лучше. Присутствие Эмилии и вся знакомая обстановка действовали на нее благотворно. Она уже не была такой утомленной и разбитой; ей казалось, что этот вечер содержал какой-то урок для нее, как будто она прошла какое-то испытание.

Когда Эмилия ушла, она надела толстый, мягкий шелковый пеньюар и села у открытого окна, обложив себя со всех сторон большими подушками.

Ночь была такая теплая, что казалось, будто наступила весна. В воздухе слабо реял нерешительный, тихий ветерок, неся с собой запах сырого мха.

Дрова в камине совсем догорели, и только изредка из-под пепла вырывался красный язык пламени и слабо освещал комнату. Дора любовалась ночью; какая-то тревога овладела ею, и она

заметила, что мысли ее вновь возвращаются к Пану. До этого дня взгляды мужчин для нее ничего не значили – она совсем не замечала мужчин. Да и каких мужчин она знала? Друзей Рекса: Ричарда Кольфакса, мальчиков Кэрю, Доррингтонов...

Пан был совсем не то. Может быть, это происходило оттого, что он был старше.

Он пережил так много, а другие – другие всегда были такие же, как теперь.

Она поговорит о Пани с Джи... Нет, не станет; она совершенно ясно почувствовала, что не будет говорить, хотя причина такого решения была ей неясна.

Даже Рексу нелегко было сказать что-нибудь о нем.

Почему? Она сдвинула свои тонкие брови; какое-то смущение овладело ею, и вместе с тем она чувствовала себя счастливой.

Как странно было, что эта встреча произвела на нее такое впечатление и не давала ей заснуть! Ее мысли беспрестанно возвращались к Пану. Она видела его опять таким, каким он явился ей в первую минуту, в полосе яркого света.

Она стала думать о его женитьбе. Она слышала, как его бранили, но не хотела верить в его вину и, сама того не замечая, уже защищала его.

Ее интересовало, был ли он несчастлив и велика ли была его любовь к Бьянке.

Много лет он совершенно пропадал, и о нем доходили только слухи. Он был в Берлине, Бухаресте; часто бывал в Париже. Он женился на итальянке, покинул ее и вернулся в Англию.

Это было все, что Дора слышала о нем. Теперь он ворвался в ее жизнь совершенно новым существом, и этот интерес новизны производил на нее впечатление, влек ее к нему.

Она направилась к туалетному столу за носовым платком и, подходя, увидела в зеркале свое отражение. Она остановилась и с интересом стала разглядывать свое лицо.

Так ли она красива на самом деле?

Она стыдливо улыбнулась своему изображению, и глаза ее в зеркале также улыбнулись. Рекс сказал, что ее глаза, как жасминовые лепестки на жасминовых листьях. Она наклонилась вперед, и свет от электричества зажег в ее зеленых глазах две маленькие звездочки. Действительно ли зеленые глаза так необыкновенны?

Ей хотелось, чтобы это было так. Она глубоко вздохнула. Сейчас, после утомительного дня, под ее глазами стояли темные круга.

Она закинула свои белые тонкие руки за голову и снова вздохнула.

Мир этот очень хорош; в нем столько удовольствий – спорт, охота, – вообще он прекрасен, и все-таки... Она потушила огонь и скользнула в постель. Как бы то ни было, завтра было близко, и тайный голос шептал ей, что завтра будет удивительным днем. Мысль о Пани вернулась к ней; она подумала, спит ли он теперь, и с этой мыслью заснула.

В то же время Гревиль, закуривая последнюю папиросу, стоял перед камином своей комнаты. Это была его собственная комната, в которой он всегда останавливался, когда бывал в Гарстпойнте.

В этот вечер он вспомнил о последней ночи, проведенной здесь много лет тому назад. Воспоминания его были невеселые; столько за это время случилось неприятного, такого, что лучше всего было бы забыть. Он пошевелил ногой дрова, и огонь весело запылал. Воспоминания о последних десяти годах его жизни напомнили ему веселую народную песенку, в которой говорится о разных видах любви к прекрасной леди. Он не мог вспомнить, кто ее пел, кажется, Фаркоа или кто-то другой: впрочем, это неважно, а интересно то, что она так приложима к нему.

Сорок лет.

Сорок лет, и готов опять начинать то же. Но на этот раз надо быть осторожнее: разрыв с женой унес у него весь оставшийся доход. Конечно, не следует от этого приходить в отчаяние:

Тони страшно богат и, несомненно, хорошо обеспечит его, хотя бы для избежания семейного скандала.

Кроме того, Рексфорд может ведь оставить свои деньги, кому он захочет, а Гревиль уже чувствовал, кто пользуется его симпатией.

Это и не было удивительно.

О, как абсолютно, как необыкновенно красива Дора! Она шествует, как победительница. Такое необыкновенное сочетание цвета лица, блестящих волос, белизны кожи и таких глаз, — а потом, ее молодость, впечатлительность!..

Он вспомнил, как она покраснела и застыдилась.

Какая дивная задача разбудить Селену и смотреть, как будет зарождаться в ней чувство. Ведь это то же самое, что наблюдать за бутоном и смотреть, как он медленно, медленно распускает один лепесток за другим...

Мысль эта подобно молнии промелькнула в его мозгу.

«В конце концов, почему же нет?»

Ему вспомнилось ее пение, в котором слышался призыв страстного сердца. А какой голос — и в соединении с такой молодостью, с такой красотой!

Какая бездна наслаждения для такого исследователя, как он, пробудить в ней спящее чувство, придать страсть этому голосу.

Он затаил дыхание: уже давно вел он скучную жизнь, давно не имел он любовной интриги, и вдруг встретить ее здесь, в Гарстпойнте!

Он затаился, и папирosa его снова закурилась.

Если даже ничего не случится, присутствие Доры совсем изменит его пребывание здесь. Позабавиться с ней, во всяком случае, гораздо приятнее, чем быть предоставленным милому гостеприимству Тони. О, что это за грубое, несносное существо!

Он посмотрел на часы. На следующий день он собирался принять участие в охоте. Пора было идти спать, чтобы встать вовремя.

Тем не менее он проспал. Сбежав вниз, он наскоро, обжигаясь, выпил чашку чаю и успел догнать Дору только уже на поле около дома.

Он весело окликнул ее. Солнце только что взошло; он чувствовал себя в ударе и сознавал, что выглядит хорошо. Он направил лошадь к Доре, которая ехала рядом с Тони, и, когда он встретился с ней взглядом, на губах у него заиграла улыбка.

Сколько было в ее взгляде стыдливости, восхищения, счастья!

Теплый сильный ветер гнал опавшие листья; небо, покрытое сизыми облаками, низко нависло над головой. Раскинувшийся перед ними ландшафт казался точно выгравированным. Лишенные листьев деревья, покачивавшиеся под напором ветра, выделялись на фоне неба кружевом обнаженных ветвей.

О, как хорошо, как божественно хорошо жить, ехать верхом и чувствовать себя такой счастливой, напевало Доре ее сердце.

Все ее молодое существо, полное радости жизни, звучало в унисон с ясным, светлым днем.

Минувший вечер казался далеким.

Глаза Тони, который ехал рядом с Дорой, случайно остановились на ее покрасневшем лице, и его лицо тоже сразу преобразилось и приняло более мягкое выражение.

На Доре сосредоточилась вся его упрямая гордость, которую он скрывал и которая от этого была еще сильнее.

Рекс значил для него очень мало; он постоянно хворал, а когда бывал здоров, упорно молчал и вообще был очень замкнут. Помимо того, старая рана, причиной которой было рождение сына, не зажила и никогда не могла зажить. Но Дора...

– Какова! – хрипловатым голосом бросил он проезжавшему Пемброку, смотря своими воспаленными глазами на Дору.

Пемброк, который разделял его восхищение Дорой, но любил вместе с тем и Рекса, кивнул головой в знак согласия и шутливо сказал:

– Победительница, Тони, что и говорить; руки по швам!

На поле показался Пан, который ехал, направляясь к ним. Оба мужчины смотрели на него; Тони нахмурился.

Пан подъехал к Доре, и они помчались рядом, во главе кавалькады.

Пемброк повернул лошадь и поехал в сторону.

Немногие имеют дар отступать, не достигнув того, чего желают; еще более немногим дана способность остановиться вовремя и зафиксировать положение, так как для этого нужна известная ловкость, а ловкость редко бывает соединена с бескорыстием; утонченная любовь почти всегда требует жертвы.

Пан играл с Дорой, как ветер с огнем. Ему нравилась эта игра; он был сам увлечен, но не имел ни малейшего желания претворить это увлечение в действие.

Дора нервничала, волновалась, переходила от одного настроения к другому в зависимости от того, дарил ли ее Пан своим вниманием или, наоборот, не замечал ее. Она все чего-то ждала и не могла разобраться в своих чувствах.

Она ни с кем не могла бы поделиться своими переживаниями. Но никто из домашних не присматривался к ней, Рекс был болен, и Джи почти все время была с ним. Тони и Пемброк были поглощены спортом и не имели времени для наблюдений.

Часто Пан подолгу пропадал в городе, и Дора узнала, как медленно может тянуться время.

Она еще не сознавала, что любит. До этого времени любовь занимала слишком мало места в ее жизни, чтобы она могла отнестись к ней сознательно. Но всякий раз, как автомобиль уезжал встречать шестичасовой поезд, она с напряжением ждала его возвращения. Иногда Пан, предупредив о своем приезде, не приезжал в указанный день, и тогда она, прождав напрасно внизу, поднималась в свою комнату и сидела там до сумерек, пока не приходила Эмилия помочь ей одеться к обеду.

Она не могла бы сказать, что она была несчастна; само ожидание было сладко, в нем как бы таилось смутное обещание.

Пан из города несколько раз писал ей, и, когда он бывал там, она совсем другими глазами встречала почтальона. Прежде это был просто бывший кузнец Джон Томас, а теперь он являлся или посланником небес, или бессердечным стариком, который мог бы совсем не родиться.

Пан приехал в автомобиле к Рождеству, в сочельник, нагруженный подарками для всех. Рексу он привез книги, а Доре маленькие часы на руку, украшенные бриллиантами, с изумрудной застежкой.

Он вошел в зал, жалуясь на холод, и заявил, что замерз, но вид у него был бодрый.

Он подсел к Доре и спросил ее так тихо, что только она одна могла слышать:

– Вы рады меня видеть?

Внезапная стыдливость помешала ей сразу ответить.

– Разве вы не рады? – слегка поддразнил он ее. – Жестокая! А я всю дорогу только и думал о встрече с вами. Я не замечал холода: мысль о вас согревала меня, как огонь.

Он протянул руки к настоящему огню и стал греть их; пламя сквозило сквозь его тонкие пальцы. У Доры явилось безумное желание тоже протянуть свои руки и соединить их с тонкими красивыми пальцами. Она украдкой взглянула на Пана и стыдливо сказала:

– Я очень рада, что вы приехали к Рождеству. Пан засмеялся. В его смехе всегда было что-то обидное, всегда слышались насмешка и недоверие.

– Я очень польщен, – небрежно сказал он. Вся радость, все счастье Доры мгновенно погасли от этого смеха, обратившись в кучу пепла. Желая сохранить свое достоинство, она встала, сославшись на какие-то хозяйственные дела, но не успела она сделать шагу, как почувствовала, что вся дрожит. Рука Пана скользнула по ее руке, и она почувствовала, как его пальцы сжимают ей руку.

На миг зал, огонь в камине, вся обстановка вокруг нее – все исчезло. Она почувствовала,

что лишается чувств, и только где-то в глубине сердца вставал беспомощный вопрос: «Что это, что это со мною?»

Рекс направлялся к ним через зал, и она почувствовала, что рука ее свободна. Но в то мгновение, когда пальцы Пана разжимались, она вновь испытала ту же головокружительную слабость, и ей захотелось шепнуть: «Не отнимайте руку, не уходите, не уходите».

– Разве не темно вам тут? – услышала она голос Рекса. – Позвольте, – он наклонился и зажег огонь.

Потом он принес Доре кекс и остался около них.

– Хорошо провели время в городе? – спросил он у Пана.

– Да, благодарю. А тебе лучше?

– О да; совсем хорошо. Собираюсь охотиться на будущей неделе.

– А когда обратно в школу?

Юноша рассмеялся. Пану было известно, что Рекс из-за болезни принужден был покинуть Итон, и потому вопрос Пана показался ему забавным, так как он понимал, чем этот вопрос вызван.

– Я совсем не вернусь туда, я останусь здесь, – сказал он, улыбаясь своей особенной привлекательной улыбкой, а затем, глядя на Дору, добавил: – И буду смотреть за Дорой.

Дора запротестовала и нервно рассмеялась, а Пан подумал про себя: «Гадкий щенок видел; интересно знать, что он подозревает?»

Он встретил ясный, спокойный взгляд Рекса; он мог не любить его и издеваться над ним, но он чувствовал в нем серьезного противника. Рекс был как будто окружен атмосферой благородной чистоты и, несмотря на свою молодость, держал себя с большим достоинством.

Наружность его тоже была незаурядна; он был почти такого же роста, как и Пан, так же широк в плечах, руки и ноги были у него такие же тонкие и изящные. Сейчас он стоял, прислонившись к камину, и невозмутимо покуривал папиросу; его стройная фигура эффектно выделялась на фоне серой стены. Прозвучал гонг к обеду.

– Поторопись, Дора, с твоим туалетом, – сказал он, – у нас сегодня обедает много народу, и мы должны быть вовремя готовы.

Он взял ее под руку и вывел из зала. Пан смотрел им вслед, прищулив глаза...

Но немного позднее он вознаградил себя. Дора сошла вниз рано, одетая в белое кисейное платье с серебряным кушаком; на ней была нитка жемчуга, подарок Тони; жемчужины лежали на ее шее, как затуманенные утренние звезды.

– Это, – сказала она Пану, указывая на жемчуг, – для меня целое событие. Знаете ли вы почему? Ну, конечно, знаете. Ведь жемчуг дарят только взрослым девушкам.

– Никакие жемчуга, никакие сокровища не могут сделать вас более прекрасной, – тихо сказал Пан.

– О! – отозвалась Дора почти шепотом. Краска сбегала у нее с лица, потом она покраснела. Слова его подействовали на нее как ветер, раздувающий пламя.

Пан и сам был немного смущен. Он сознавал, что ведет опасную игру. Дора была слишком жива, слишком впечатлительна. Ему необходимо взять себя в руки, больше наблюдать за собой, если он хочет продолжать эту, хотя и невинную, любовную интригу. Он почувствовал, что во рту у него стало сухо. Его внезапно обуяло безумное желание поцеловать Дору. Он сдержался, сделав над собою страшное усилие, и вдруг сильно побледнел.

– Что с вами? – спросила Дора, протянув руку, чтобы поддержать его.

Как раз в это время в дверях появился Тони. Он постоял несколько секунд на месте; лицо его осталось неподвижным; только глаза на мгновение блеснули. Потом он медленными шагами направился к ним.

– Любуешься Доринными жемчугами, Пан? – спросил он, остановившись около Доры.

– Они очень красивы, – ответил Пан с излишней поспешностью.

– Она достойна их, – сказал Тони своим хриплым голосом, а потом, помолчав, грубо добавил: – Интересно бы знать, Пан, скольким девушкам ты тоже дарил жемчуга?

Он громко рассмеялся, взял Дору под руку и повел ее с собою в гостиную.

Она была почти одного роста с ним; он сбоку оглядел ее внимательным взглядом.

Неужели Пан уже успел произвести на нее впечатление? При этой мысли его темное лицо побагровело.

Пан, с его ужасной репутацией, с целым реестром любовных похождений, с этим позорным, легкомысленным браком и не менее позорной попыткой добиться развода...

Он отрывисто сказал Доре:

– Беги и скажи Джи, что я хочу ее видеть. Пан вошел вслед за ними в комнату и сел, взяв иллюстрированный журнал. Тони дождался, пока Дора скрылась, а затем, подойдя к Пану и глядя на него невозмутимым взглядом, сказал:

– Я могу ошибиться. И надеюсь, что я ошибаюсь. Но, если я прав, клянусь честью, – ты уйдешь отсюда нищим. Слышишь?

– В чем дело? – спросил Пан спокойно, но веки его дрогнули.

– Ты прекрасно знаешь, – коротко сказал Тони, сдерживая накопившуюся в нем ярость, – и я знаю, что ты знаешь. Если ты еще раз взглянешь на Дору так, как ты не должен глядеть, ты уедешь отсюда.

– Я думаю, – с напускной небрежностью сказал Пан, – было бесполезно говорить тебе, что твое – как бы это сказать – подозрение кажется слишком значительным словом для такой безумной мысли, – ни на чем не основано.

Тони усмехнулся. Он ничего не сказал, но посмотрел на Пана пылающим взглядом и губы его кривились усмешкой.

– Я сказал свое, – презрительно добавил он, – и ты можешь быть уверен, что я сделаю, как сказал.

Он круто повернулся, с быстротой, удивительной для такого огромного человека.

– Руки прочь, или ты не получишь ни пенни! – добавил он, направляясь к камину; он спокойно срезал кончик сигары и закурил ее.

Пан весь кипел от злобы и внутренне только твердил: «Будь ты проклят, будь проклят, будь проклят!»

Он не строил себе иллюзий; он знал Тони достаточно, чтобы быть уверенным, что тот сделает так, как сказал.

Вошла Дора, тихо напевая Кармен; она начала танцевать, отыскивая глазами Пана, желая бросить ему, как вызов, как признание, слова цыганки: «Si je t'aime, prends garde a toi!»

Она танцевала, щелкая пальцами вместо кастаньет, с жестами, как танцуют испанки; ее гибкий стан наклонялся и изгибался, как стебелек колышущегося цветка.

– Тони, я буду оперной певицей! – весело крикнула она. – Дорогой мой, я этого очень хочу. Кавини говорит, – она изобразила, как жестикулирует итальянец, – «вы божественны; немного погода вы можете нащуметь на весь мир. Подумайте об этом».

– Едва ли это будет, – угрюмо сказал Тони. Вошел Рекс, и Дора показала ему свой жемчуг.

– О Дора, какое великолепие! – сказал он и, повернувшись к Тони, повторил почти то же, что сказал последний: – Не правда ли, отец, она достойна их?

Джи, сияющая, в бриллиантах и черном бархатном платье, уселась за рояль и заиграла старинную польку.

– Пойдем, Дора, – предложил Рекс.



Они пошли танцевать; недостаток Рекса был едва замечен. Танцуя, он напевал мотив. – Джи, что с вами случилось? – крикнул он. – Какой вы взяли сегодня быстрый темп! Дора искала глазами Пана, но он упорно не смотрел на нее.

«Что случилось?» – думала она.

За обедом она старалась встретить его взгляд, но он все время отворачивался.

Зато другие смотрели на нее. Ричард Кольфакс, перешедший на второй курс колледжа, засыпал ее комплиментами и все время пил за ее здоровье. Его живое, еще детское лицо было бледно, а глаза пылали. Дора пила с ним и с Христофором Арунделем, который также не отрывал от нее глаз. Ей пришлось делить между ними танцы; один Пан не приглашал ее.

Несколько раз во время танцев она пролетала мимо него, делая вид, что не замечает.

В оранжерее Ричард Кольфакс схватил ее за руку.

– О Дора, – голос его задрожал. – Вы прекрасны, Дора! Вы совершенство!

Он сжал ее руку, но она поспешно ее отдернула.

Что ей было в его рукопожатии? От его руки не пробежал огонек. Не было того удивительного безумного содрогания, которое, казалось, уносило душу к небесам. Ричард казался ей похожим на куклу, которую кто-то заставлял танцевать, дергая за веревочку. Она обещала ему танец и повела его обратно в зал.

Пан стоял около дверей, и, когда они проходили мимо него, взгляд его остановился на Ричарде. Дора заметила, что глаза его сузились. Она уже раньше замечала, что это случалось с ним в минуты сильного напряжения. Внезапно она почувствовала прилив необычайной веселости; ее наполнило чувство торжества.

– Разве вы не хотите танцевать со мной, Ричард? – тихо спросила она, сделавшись необыкновенно ласковой и маня молодого человека каждым своим жестом и тоном голоса.

– Вы же знаете, что хочу, – страстно ответил он.

Он взял ее за талию, прижав к себе несколько сильнее, чем это было нужно, а она наклонила голову к его плечу так, что его губы почти касались ее волос.

Она остановилась как раз против Пана и прошла мимо него, разговаривая с Ричардом. Но когда она опять очутилась в оранжерее, все напускное торжество слетело с нее.

– Я страшно устала, Ричард, – едва слышно сказала она.

– Я сейчас принесу вам шампанского, – ответил он, – я тотчас вернусь.

Не успел он выйти, как вошел Пан. На лице его блуждала улыбка, придававшая некоторую резкость его чертам. Он подошел к Доре, тихо ступая по мраморному полу своей легкой походкой, и остановился около нее.

– Музыку и здесь слышно, – спокойно сказал он. – Не хотите ли со мной окончить этот танец? Я сегодня был не в милости. Я заметил, что Афродита пренебрегает своими верными слугами.

Дора находилась еще в том возбужденном состоянии, которое не покидало ее весь вечер под влиянием его пренебрежительного к ней отношения.

Она ничего ему не ответила, но встала и пошла с ним танцевать. Звуки музыки едва долетали до них, и часто ее совсем не было слышно; они бесшумно танцевали под громадными пальмами, совсем рядом с ними; воздух в оранжерее был сырой и жаркий, и в ней пахло, как в жаркую летнюю ночь – цветами, увядавшими листьями и сырой землей.

Лишь только Дора очутилась в его объятиях, ее горя, ее мучений как не бывало, как будто в его прикосновении заключалось высшее счастье. Она порывисто дышала, рот ее приоткрылся, зрачки расширились, как бы прося пощады. Незаметно для себя она немного потянула его к себе, и от этого движения кровь бросилась ему в голову.

Он крепко прижал ее к себе, и, обезумев от прикосновения этого гибкого, нежного тела,

этого чудного лица, с которого сбежала теперь краска, но которое и бледное было не менее прекрасно, он наклонился и поцеловал ее раскрывшиеся губы, и одновременно с поцелуем с его губ сорвалось:

– Дора!

Она не отвечала, только глаза ее, полные упоения, опустились перед его взглядом, и веки их затрепетали, как крылья. Он стал целовать их, целовал ее лоб, блестящие волосы, ресницы и опять прильнул к ее губам.

Ей казалось, что эти бесконечные поцелуи падают прямо в ее душу, что все существо ее вместе с ними переходит к Пану.

Послышался шум, хотя и слабый, но Пан уловил его, тотчас выпустил Дору, и она услышала, как он вежливо обратился к Ричарду. Она инстинктивно схватилась за край бассейна, около которого стояла; везде над собой, вокруг себя она видела золотые узоры, мелькающие листья и воду, падающую серебристой завесой.

Откуда-то издали донесся до нее голос Ричарда:

– Выпейте это, вам дурно...

Она машинально прильнула жадными губами к стеклу и стала пить.

Все мгновенно изменилось: волшебные деревья опять стали большими пальмами, а фонтан – только струйкой воды, которая поднималась и падала в бассейн; издали доносились звуки музыки.

– Вы не должны больше танцевать, – услышала она слова Ричарда. – Вы прямо умираете от усталости. Вам надо отдохнуть.

– Я, кажется, пойду в свою комнату, – сказала Дора, – если только вы не будете сердиться, Ричард.

Он проводил ее до лестницы и постоял, пока она не скрылась из вида.

В ее комнате было прохладно, тихо и темно. Она остановилась у окна с закрытыми глазами. Итак, это случилось... То не был сон беспокойной сладкой ночи – он целовал ее, он любит ее, любит!.. Прочь все страхи, все сомнения – он любит ее... О, если бы этот день никогда не знал конца, если бы он мог бы тянуться вечно... О, теперь умереть – вполне, вполне счастливой, вспоминая глаза Пана, устремленные на нее, его поцелуи, с которыми он пил из нее душу...

Она оперлась о подоконник и склонила голову. Ей казалось, точно над нею пронеслась буря и, пощадив ее, оставила в изнеможении.

Различные чувства боролись в ней: ей было и стыдно, и страшно, и вместе с тем она была полна восторга и ликования.

«О, если бы снова пережить это восхищение от первого в жизни поцелуя», – думала она, хотя в то время, как он поцеловал ее, ей казалось, что она умирает, что она не переживет этого упоения.

Какой-то слабый голос внутри ее шептал: «Это конец, это конец...» – но он опять целовал ее, и снова то же блаженство, от которого, казалось, могло разорваться сердце; и сейчас еще оно билось так, как будто хотело выскочить из груди.

Дверь тихо, осторожно открылась. Дора вскочила с широко открытыми глазами, прислушиваясь. И вдруг голос Пана сказал:

– Дора!

Еще имя ее не успело слететь с его языка, как она была уже в его объятиях. Он схватил ее и как безумный прижал к себе.

– Я пришел, – произнес он, заикаясь, – чтобы сказать вам, Дора, что мы никому не должны говорить о нашей любви. Понимаете? Рексфорд пришел бы в ярость. Обещайте мне... Это будет секрет, наш секрет...

– О, обещаю, это будет наш божественный секрет. Секрет вашего и моего сердца. Только целуйте меня, целуйте меня еще!

Он заглушил в себе внезапно вспыхнувшее в нем чувство жалости к ней.

Губы ее касались его, целуя и прося поцелуя. Она положила руки ему на плечи, как бы отдавая ему всю себя, всю свою прелесть, всю молодость, всю красоту. Весь мир казался им далеким-далеким; их царством была скрывавшая их ночь, а музыкой – биение их сердец.

Пан коснулся рукой ее сердца.

– Мое? – спросил он.

– Только ваше...

Он почувствовал, как оно забилося под его рукой, как будто готовясь вылететь ему навстречу, и ему казалось, точно он держит голубя, который трепещет в его руке. Он обнял ее и притянул к себе. Она была в упоении, почти без чувств. Мысли, как золотые звезды, мелькали в ее мозгу; мир, о котором она никогда не мечтала, раскрылся перед ее глазами. Смутно долетал до нее голос Пана:

– Я люблю вас, я люблю вас...

Хлопнула дверь. Его уже не было; он ушел, оставил ее, не окончив поцелуя на ее раскрытых, просящих губах.

– Пан... – прошептала она.

Ответа не было, только ветер тихо колыхал занавески, и они рябили, как волны, ударяясь о косяки.

Она опять подошла к окну неровными шагами, едва передвигая ноги. Она села на подоконник и схватилась руками за голову, смотря на темное, покрытое серебряной броней небо.

Ночь была нехолодная, дул теплый ветер; облако затемнило месяц, и мир казался прикрытым мягкой, темной пеленой. Никогда раньше ночь не казалась ей такой удивительной, такой прекрасной. Теперь... теперь пришло время любви, теперь все было ясно, нечего было скрывать, не в чем сомневаться.

– О, жить, жить, – тихо сказала Дора, – и всю остальную жизнь любить его... Пан, Пан!

Утром началась пытка. Дора задерживала Эмилию под разными предлогами, два раза сменила платье; наконец, дальше откладывать было невозможно, нужно было идти вниз, а страх все больше овладевал девушкой.

Наконец, она решилась и сошла в столовую: оказалось, что она страдала напрасно. Гревия там не было, а сидел один Рекс, который тотчас подал ей булочки и кофе и стал по очереди угощать ее каждым блюдом, стоявшим на столе.

– Нет, довольно и этого, – сказала Дора.

– Бережешь аппетит к обеду?

– Да.

Они взглянули друг на друга и рассмеялись.

– Где ты вчера пропадала? – спросил Рекс. – Я всюду охотился за тобой, пока не встретил Кольфакса, который торжественно заявил мне, что он уговорил тебя пойти отдохнуть. А ведь Ричард с утра отправился – я уже не знаю куда – на полюс или к звездам, куда возносит людей настоящая любовь. Он только и бредит тобой. Что ты об этом думаешь?

Он говорил как будто в шутливом тоне, но глаза его были серьезны.

– Да ничего не думаю, – ответила Дора.

– А ведь он, пользуясь свободным временем, теперь будет постоянно торчать у нас здесь.

Он присел на широкий диван возле камина.

– Я иногда думаю, Дора, за кого ты выйдешь замуж?

Она смутилась и покраснела.

– Перестань дурить, Рекс, – сказала она. Дверь отворилась, и вошел Пан.

– Мы разговаривали о замужестве Доры, – вежливо сказал Рекс. – Каков ваш взгляд, Пан, на этот важный вопрос?

– Да разве наши взгляды – твой и мой – что-нибудь значат? Какие бы взгляды мы ни высказывали, чтобы ни предполагали, Дора не будет с этим считаться, – ответил Пан, не спеша выбирая себе на столе закуску.

Рекс продолжал сидеть; Дора стояла у камина. Наконец, Пан встал. Дора вся превратилась в ожидание. Пан повернулся к Рексу:

– Не пойдешь ли ты прогуляться? В такой день, как сегодня, надо что-нибудь предпринять.

– Нет, благодарю вас. Я берегу себя для охоты на будущей неделе.

– Я пойду, – сказала Дора.

– Отлично, я сойду через две-три минуты.

Дора вышла сменить обувь. Рекс остался у камина; он улыбнулся, и улыбка его была так же печальна и мрачна, как этот серый день.

«Он отлично знал, – думал он, – что я еще не могу много ходить; потому и спросил, что знал». Между тем Дора с Паскалем шли уже по лужайке.

– Как вы хорошо сыграли! – сказал Паскаль. Дора посмотрела на него широко раскрытыми глазами.

– Сыграла?

– Я хочу сказать, что вы вступили в разговор как раз в нужный момент.

– В таком случае, я очень рада, но я не старалась. – Она подарила его чудной улыбкой. – Мне хотелось остаться с вами наедине, а это был такой удобный случай.

«О юность», – подумал Паскаль. Его душе, уже давно пережившей первую молодость, такая наивная откровенность не понравилась. В любовных делах ему наибольшее удовольствие

доставляла интрига. И все-таки, когда он взглянул на Дору, день показался ему менее сумрачным. Она была так стройна, так прекрасна в своем мальчишеском костюме, в фетровой шапочке с пером на голове. В глубине ее глаз мерцали звезды. Она взяла его под руку.

– Пан...

Он оглянулся посмотреть, нет ли кого позади, и, убедившись, что никого нет, крепко сжал ее руку.

Лицо Доры запылало.

– О Пан, я думала, что вы забыли, а это в самом деле случилось. Мне все не верится, и, чтобы поверить, я все твержу себе: «Это случилось. Он любит. Он поцеловал меня». Пан!..

– Да, Афродита?

– Пан, что за дело, что сейчас еще утро? Нельзя ли один, совсем, совсем маленький?.. Ведь теперь Рождество и нужно быть щедрым.

Ее необыкновенная, почти детская живость тронула даже его «не первую молодость».

Забыв осторожность, забыв свое решение осторожно двигаться к цели, он направился с Дорой к небольшой буковой заросли, посаженной Тони, и под прикрытием этих кустов, которые сами еще нуждались в прикрытии, поцеловал ее.

Место и время были совсем не подходящие для романа: часы на конюшенном дворе только что пробили одиннадцать. Кругом во мгле зимнего утра раскинулись поля, покрытые жнивьем. Только совсем зеленая юность могла любить где угодно, но Пан чувствовал себя не в настроении для поцелуев.

Дора спросила его:

– Почему мы должны скрывать нашу любовь? Пан засмеялся, но в его смехе не было веселья.

– А потому, что Тони не позволяет нам любить друг друга.

– Но как он может знать? Мы сами не знали, пока не поцеловались. Если бы я сказала ему, он не возражал бы.

Пан остановился и взял ее за руки.

– Слушайте, вы не должны ничего говорить Рексфорду. Я сейчас не могу объяснить вам почему; позднее скажу. Но дайте мне слово, что наш секрет останется только нашим, до тех пор, пока я не освобожу вас от вашего слова.

– Обещаю, Пан.

Она подняла голову, он наклонился и поцеловал ее остывшие губы, а затем, забыв про зимнее утро и поле, покрытое жнивьем, стал целовать эти холодные губы до тех пор, пока они не стали горячими, как огонь, и пока он сам не запылал страстью.

И так продолжали они стоять, прикрытые одним лишь небом, обнявшись и соединив в одно темную и золотую головы, до тех пор, пока из норы не выскочил кролик, которому захотелось подышать свежим воздухом, а где-то рядом с ними не затянула песню птичка.

Их увидел с дальнего холма Тони, возвратившийся верхом из Пойнтерса. Он осадил лошадь, остановился и стал смотреть: зрение у него было великолепное. Ярость его была так велика, что его трясло, как в лихорадке, лицо побагровело, губы посинели, от волнения он стал задыхаться и подергивать своими дрожащими пальцами плетеный хлыст.

Он смотрел до тех пор, пока обе фигуры не разделились; тогда он круто повернул лошадь и поехал домой.

А Дора говорила Пану дрожащим голосом:

– О Пан, Пан, я люблю вас, люблю вас... Взгляд ее случайно упал на кролика, и она весело рассмеялась:

– Ах, маленький шпион!

Пан побледнел и, круто повернувшись, увидел маленькую серую шкурку.

Дора объяснила ему причину своего смеха, но он стал рассеянным и был недоволен собою; положительно место было слишком открытое, и нельзя было так рисковать.

«А впрочем, – подумал он минуту спустя, – какое же преступление – поцеловать хорошенькую девушку? Если с Дорой не случится ничего хуже этого, то она, в сущности, не потерпит никакого ущерба. И неужели Тони так глуп, чтобы предполагать, что такая девушка, как Дора, в которой кипит южная кровь, которая вся – огонь и желание, может прожить жизнь без поцелуя?»

В то же время, закусив трубку зубами, заложив руки за спину, Тони ходил взад и вперед по своему рабочему кабинету, как называл он комнату, куда имел обыкновение удаляться, когда хотел «что-нибудь обдумать», то есть обычно – просто заснуть.

Не так смотрел он на Дору, как Пан, столь дешево ценивший ее молодость и заранее цинично убежденный, что жизнь накажет ее за ее красоту. Нет, он видел перед собой маленькую девочку в зеленых башмачках, потом пятнадцатилетнюю девушку в день ее рождения; он вспоминал, как он подарил ей первую охотничью лошадь и как она повисла у него на шее...

А Пан осмелился прикоснуться к этой чистоте, осмелился осквернить ее своими ласками...

«О Боже», – он случайно увидел свое лицо в маленьком зеркале и остолбенел.

Неужели в самом деле у него такой вид? Он сделал над собой страшное усилие, чтобы побороть свой гнев.

Была минута, когда ему представилось, что он держит в своих руках Пана и сжимает ему горло; как раз в этот миг он увидел себя в зеркале и понял, что обратился в дикаря.

С самой смерти Франчески весь его интерес к женщинам сосредоточился на Доре; он чувствовал ее исключительно своей, и, даже когда родился Рекс, он понял, что никакой ребенок никогда ему ее не заменит.

Смерть Франчески еще более связала его с ней, еще более усилила его привязанность, и, может быть, потому, что она была осуществлением его желания, воплощением его мечты, он считал ее более своей, чем своего родного сына.

И вдруг она, такая чистая, такая прекрасная, будет замарана, загублена Паном – человеком, которого он презирает и имеет основание презирать. Вся старая ненависть вспыхнула в нем с новой силой.

Он встал со своего глубокого кресла и с трудом дошел до окна. Как раз в это время Пан и Дора возвращались с прогулки. Он увидел их, позвонил и приказал позвать к себе Гревия, как только он вернется.

Пан вошел легкой походкой, наружно совершенно спокойный, хотя в душе у него и были некоторые опасения.

– Я видел вас на поле, – сразу сказал ему Тони. Пан не отвечал; он старался найти для себя выход, но ничего не мог придумать.

Тони толкнул ногой полено в камине, повернулся и посмотрел на него в упор.

– Тебя вызовут в город, чтобы ехать в Париж, – сказал он хриплым голосом, – я думаю, ты получишь телеграмму завтра утром.

– Милый друг, – пробормотал Пан, открывая портсигар и доставая оттуда папиросу.

Тони чувствовал камень на своей груди.

– Ну что? – сурово спросил он. Пан позволил себе улыбнуться.

– Я не влюблен в Гарстпойнт, – спокойно сказал он, – но мне обидно, чтобы меня выгнали отсюда. И Париж слишком шумен под Новый год. Кроме того, – добавил он, старательно изучая взглядом лицо Тони, – что бы ты ни делал, дорогой Тони, исход всей этой истории все-таки

зависит от меня.

Он увидел, как Тони сжимал и разжимал кулаки, и подумал с презрительной усмешкой: «Что грубая сила может поделать против ловкости!»

– И почему бы Доре не любить меня? – спросил он спокойно. – Я могу получить свободу...

Тони шагнул к нему и остановился...

– Любить тебя? – повторил он как эхо. – И ты еще спрашиваешь, зная, что я знаю все?

Он покачал головой, как будто старался отделаться от боли, потом отвернулся и долго смотрел в окно на скованную зимою землю.

Он сознавал свою беспомощность, и это бесило его. Он понимал, что решение действительно зависит от Пана, и, если он не согласится оставить Дору, ничем нельзя его к тому принудить.

Он снова повернулся к брату.

– Если ты завтра уедешь в Париж, поклянешься не писать ей и дашь ей почувствовать, что ты просто ее забыл, я удвою твоё содержание.

Глаза их на мгновение встретились.

– Если ты останешься, ты не получишь ни пенни, – грубо закончил он.

– А просить милостыню я стыжусь, – добавил Пан с горькой усмешкой.

– Выбирай, – неумолимо ответил Тони.

Пан взглянул на него и сам поразился той ненависти, которую он к нему почувствовал. Мозг его усиленно работал, отыскивая какой-нибудь выход из создавшегося положения.

Он видел, что застигнут врасплох и что ему нечем защищаться. Что пользы настаивать на своем? Все равно Тони удалит его из Гарстпойнта и лишит возможности видеться с Дорой.

Одни глупцы продолжают бороться, когда битва уже проиграна.

Эта мысль доставила некоторое удовлетворение его больному тщеславию; не так позорно было согласиться, раз другого исхода все равно не было.

Он посмотрел на Тони и слегка пожал плечами.

– Ты поднял много шума из-за пустяка; я согласен. Они вновь встретились взглядами, и после короткой паузы Пан вышел.

Он нес с собою чувство унижения, вонзившееся в него, как ядовитая стрела. Не один Тони почувствовал себя в этот час способным на убийство; у него тоже шевелилось желание подстеречь Тони в темном углу и колоть, колоть его кинжалом...

Дора пела в музыкальной комнате, и голос ее долетал до него так ясно, как будто их не разделяли коридор и крыло дома.

Он остановился и слушал; сердце его билось так сильно, что временами он задыхался. Он хотел поиграть с Дорой, ограничиться двумя, тремя поцелуями, и только. А между тем... Он чувствовал себя в положении человека, который ступил на лестницу, думая, что она прочна, и вдруг повис в воздухе над пропастью, ухватившись руками за какую-то слабую поддержку. Он привык к тому, что увлечения его не доставляли ему никаких хлопот. Все его прежние любовные похождения оканчивались очень просто: он уходил, не дожидаясь сцен, и все было кончено.

Дора пела теперь французскую песенку, слова которой слабо долетали до него; он знал ее: «Seule, elle peut mon mal guerir...»

Дора стояла перед ним как наяву. Он видел ее гибкую, белую, запрокинутую назад шею, ее блестящие волосы, ее прозрачные зеленые глаза. Она принадлежала ему больше, чем она сама сознавала, больше, чем он имел право думать.

А он допустил себя до этого! Его голодная злоба искала выхода, его поражение не давало ему покоя.

Самые низкие, самые гнусные мысли зароились в его голове.

Еще в его власти унижить Рексфорда, разбить его силу в прах и диктовать ему свои условия.

О, сделать это, сбить с него его адскую гордость! Он постоял еще немного, полузакрыв свои темно-золотые глаза, потом прошел в музыкальную комнату.

Входя, он увидел только Дору и не заметил висевшего над роялем зеркала, в котором отражалось его лицо. Позади нее, в отдалении, Рекс полулежал в кресле, слушая ее пение и любуясь ее изображением в зеркале.

Он увидел входящего Пана и заметил, каким взглядом он обменялся с Дорой.

Юноша тотчас встал, давая знать о своем присутствии, – хотя Дора и знала, что он здесь, – подождал немного, сделал несколько ничего не значащих замечаний и вышел. Он чувствовал себя несчастным, и ему пришла странная мысль поискать убежища в кабинете отца. Он тихо шел по коридору; Ник следовал за ним. При его входе отец встал.

– Простите, – сказал Рекс, – я не знал, что вы тут. Я просто бродил...

Тони кивнул головой и посмотрел через его голову.

– Ты видел Дору? – отрывисто спросил он.

– Она в музыкальной комнате – по крайней мере, была там минуту назад.

– А Гревия ты видел?

– Он вошел туда, когда я выходил.

Тони еще раз взглянул на него, рассеянно погладил Ника, постоял минуту в нерешительности, как бы колеблясь, и вышел. Рекс посадил Ника против себя и обеими руками взял его голову.

– Он что-то хотел сказать мне, дружище, – обратился он к Нику, – ему хотелось этого, но он такой замкнутый, и, когда у него неприятности, ему трудно говорить. Ник, ведь это из-за Доры и этого негодяя Пана! Как нам быть с этим?

Ник улегся у его ног.

– Он – грязная свинья, – продолжал Рекс, – иначе его не опишешь. Да, он свинья и еще хуже, я много раз слышал отзывы о нем, а ведь люди начинают говорить только намного позже того, как это следовало бы сделать.

Он встал, а Ник вскочил на так называемый «письменный» стол Тони и стал смотреть в окно.

– Конечно, я, может быть, не совсем справедлив; я слишком ненавижу его, – сказал Рекс. – Я ненавидел его, еще когда был совсем ребенком, но ведь детские симпатии самые искренние; дети знают, и им больше ни до чего нет дела, тогда как мы, взрослые, поддаемся всяким влияниям, начинаем взвешивать качества... О, мы просто глупеем. А такие вот наивные создания, как ты, Ник, те знают.

Он пошел завтракать и был очень обрадован, найдя в столовой большую компанию. После завтрака играли в покер, а вечером опять должны были быть танцы, на этот раз у Кольфаксов.

– Я отвезу тебя, Дора, – сказал ей Рекс, – мы поедем в закрытом автомобиле, и если сломаемся, то, значит, судьба.

Отец посмотрел на него, потом одобрительно проворчал:

– Мы поедем сзади и подберем обломки.

Дора сошла к Рексу в белом кисейном платье и накидке из шиншиллы на золотой атласной подкладке. В этом одеянии, сама вся белая, с темными ресницами и бровями, она походила на тигровую лилию.

Дорогой она прижалась к Рексу. Ей хотелось сказать ему о своем счастье, но она не решалась нарушить данное слово. А как приятно было бы сказать: «Рекс, я люблю Пана, и он меня любит!» Рекс понял бы ее; он всегда ее понимал.



Вдруг Рекс спросил:

– Ты счастлива, Дора?

Она засмеялась:

– Почему ты спрашиваешь? Да, конечно.

– Просто так.

Он хотел проникнуть в ее тайну, но не считал себя вправе настаивать.

– Разве я кажусь виноватой?

– Нет, напротив, только счастливой.

– Я не могу сказать тебе, друг мой, – быстро заговорила Дора, положив свою руку на его. –

Как только можно будет, я скажу.

Он кивнул головой:

– Прекрасно!

Автомобиль въехал в высокие ворота и полетел по длинной аллее прямо к дому, освещенному мириадами огней и сиявшему в темноте, как рождественская елка. В центре его башня резко выделялась на фоне ночного неба.

Минуту спустя они уже были в доме, веселые и радостные, полные молодости и жизни, окруженные такой же веселой толпой. Настроение Доры передалось остальным. Она торжествовала, окруженная вниманием Ричарда, который сразу предложил ей «испробовать паркет».

Музыканты только что явились; Ричард попросил их играть и пошел танцевать с Дорой.

Дора через плечо своего кавалера смотрела на Пана, который стоял у двери, и всякий раз, когда их глаза встречались, она чувствовала себя счастливой, как от его прикосновения.

Едкая горечь наполняла сердце Гревия. В этот момент он любил Дору и в такой же мере ненавидел Рексфорда.

До этого он не любил ее: она была для него слишком легкой добычей. Но теперь, когда он знал, что она навсегда для него потеряна, недостижимое стало желанным, как это часто случается с людьми, которые всегда добивались того, к чему стремились.

Еще когда он был мальчиком, никто в доме не смел ему противоречить. Позднее в жизни его необыкновенная обаятельность помогала ему достигать того же результата; ему всегда уступали, благодаря чему в нем развилось страшное своеволие, которое постепенно перешло в полную снисходительность к своим поступкам.

И вдруг такой человек, как Рексфорд, этот самодур, единственное оружие которого заключалось в его первородстве, осмеливался стать ему поперек дороги!..

Он посмотрел на Дору и Ричарда, которые танцевали так легко, что казалось, точно они не касаются пола, а летают над ним. Их вид еще более усиливал его злобу, его злила самодовольная молодость ее кавалера, и ему казалось, что рука Ричарда, которой он держит Дору за талию, служит как бы баррикадой, мешающей ему подойти к ней.

В нем вновь поднялась ядовитая жажда мести, которая бушевала в нем первые минуты после разговора с Рексфордом. Он уставился пристальным взглядом на Дору, стараясь привлечь ее внимание.

Он увидел, как она покраснела, когда встретила его мрачный взгляд, и лишь только музыка замолчала, она подошла к нему.

– Потанцуем, пока не пришли другие, – быстро попросила она.

Вместо ответа он сделал знак музыкантам и взял ее за талию. Минуту они стояли так, и Пан почувствовал, как бешено бьется ее сердце под его рукой.

Он знал свою силу, и в этот момент он и желал, и ненавидел Дору. Он был на нее зол за то, что не был в состоянии использовать свою власть над ней, а вместе с тем ее очаровательность,

ее полная готовность отдать ему свою невинность, свою молодость влекли его к ней.

Слишком большие эгоисты иногда чувствуют вражду к любимой женщине; это чувство испытывал сейчас Пан. Ему во что бы то ни стало хотелось проявить свою власть, которую он не смел обнаружить, чтобы подняться в собственных глазах и унижить Рексфорда. Он жаждал так или иначе уязвить Тони, ранить его сердце за то, что тот унижил его, оскорбил его гордость.

Для низких натур нет ничего мучительнее уязвленного тщеславия; мало женщин и еще меньше мужчин прощают в таких случаях, а Пан был всецело земным существом; никогда мысль о возвышенном поступке, о прощении не приходила ему в голову. Держа Дору в своих объятиях, нашептывая ей нежные слова, которые падали, как ароматная смола на огонь, он сам потерял самообладание; страсть и жажда мести влекли его дальше, чем он хотел.

Он привык смотреть на жизнь, как на забаву, как на легкую игру, а теперь чувствовал, точно над ним пролетела буря, разрушившая все прежние понятия; мысли, которые он прежде считал бы сентиментальными, дешевой мелодрамой, роились в его мозгу.

Он наклонился так, чтобы губы его касались ее волос, его дыхание долетало до нее, как ласка, и она вздрагивала в его объятиях. Она смотрела на него взглядом, полным доверия и немого послушания, которым смотрят дети, но в ее взгляде было еще и безграничное обожание.

Пан понял, какую жертву сулил ему этот взгляд, и, чтобы завершить свою победу, он обратился к Доре с страстными словами:

– Каждое биение моего сердца взывает к вам – так я люблю вас, – тихо сказал он.

Это была первая любовная речь, которую она слышала от него, и, опьяненная ею, Дора затрепетала и побледнела. Ее полуоткрытые губы бессознательно шептали: «Я люблю вас», как будто эти слова летели помимо тела прямо из ее души.

Музыка оканчивалась. Взглянув в устремленные на него глаза, Пан прочел в них немое поклонение. Во всякое другое время такая полная покорность его воле была бы ему неприятна; он не любил ничего естественного, добродетель нравилась ему, только приправленная чем-нибудь острым. Но в данном случае эта покорность вполне соответствовала его планам.

– Дора, – прошептал он, смотря на нее пламенным взором. – Дора, два слова на случай, если бы нам не пришлось больше танцевать... Да, Рексфорд видел нас сегодня утром. Он был... Он страшно рассержен... Выйдите ко мне около часа в аллею. Я буду ждать вас в тени, и мы проведем минуту вместе.

Как только музыка умолкла, он оставил девушку, а к ней уже подходил Ричард, приглашая ее на новый танец.

Было только одиннадцать часов. Еще целых два часа нужно было ждать.

Гревиль прошел в карточную комнату, где Тони, Пемброк и Джон Кольфакс играли в бридж. Ему хотелось своим присутствием испортить Тони удовольствие от игры. Он попробовал играть, стал делать крупные ставки и все время проигрывал. Кольфакс, человек, увлекавшийся сельскохозяйственными усовершенствованиями и лично управлявший своим имением, не пропустил случая вставить шаблонную остроту:

– Ну и балует же судьба вас, Гревиль, – сказал он, кивнув ему головой.

– Да, я чертовски счастлив, – весело согласился Гревиль, смотря прямо в раскрасневшееся лицо Тони.

Из зала доносились звуки музыки, было двенадцать часов.

– Еще роббер, – предложил Тони.

Все согласились. Пробило половину первого.

– Я абонирован на следующие пять танцев, – сказал Гревиль, расплатился и вышел.

Ему не хотелось возвращаться в зал; он нашел боковую дверь и вышел в сад. Воздух был чистый и свежий, он жадно потянул его в себя, и это произвело на него впечатление глотка

шампанского. Была лунная ночь; звезды блестели, как маленькие белые огоньки, а резкие тени на земле казались точно вырезанными лунным светом из черного дерева.

Погода изменилась. Закат был зеленоватого цвета с серебряным и оранжевым отливом и предвещал мороз; земля уже начинала стыть, и дул резкий ветер. Гревиль не чувствовал холода. Ожидание волновало его. Он переходил от одного решения к другому, но все они сводились к тому, чтобы отомстить, насытить свою злобу. События последнего дня подействовали на него так, что он решил использовать свою власть над Дорой до самого конца.

Он находился в том настроении, когда человек ищет возможности причинять боль, наносить раны, наслаждаться чужим страданием; когда он питает злобу даже к предмету своей любви, лишь за то, что благодаря ему он был унижен. Пан забывал, что Дора не была виновата в том, что он подвергся унижению, у него была одна цель – дать удовлетворение своей сатанинской гордости. Нечто подобное испытывает человек, перенесший какое-нибудь горе и потом всю жизнь питающий злобу против того места, где с ним случилось несчастье.

Пробило час. Гулко, почти торжественно понесся этот одинокий звук в воздухе, и в тот же момент Пан увидел Дору, которая, подобно тени, выскользнула из дому, секунду постояла в нерешительности и затем направилась прямо к нему.

Завтра мог быть Париж, отъезд, ад – но сегодня было его.

Дора была около него, лежала в его объятиях, их губы встретились, и Доре казалось, что вся ее жизнь до того момента, когда она полюбила Пана, была только приготовлением к этому чуду поцелуя, который жег ее, бледнел и опять разгорался; она чувствовала себя вознесенной в небесные сферы, где было место только для их двух душ; ей казалось, что пережить это и вновь вернуться на землю – невозможно.

Она лежала в его руках почти без чувств, с полужакрытыми глазами, с побледневшими губами, с замирающим сердцем, а Пан, любуясь ее лицом, прекрасным, как белый цветок, смеялся и говорил ей:

– Афродита, вернись ко мне... Я хочу тебя... дорогая... говори... смотри на меня...

Он продолжал нашептывать ей нежные слова, все больше и больше разжигая пламя ее любви, а она, восхищенная, трепетала в его объятиях, как лист, сорванный весенней бурей.

Пан прижался к ее лицу горячей щекой.

– Это наш преддрасветный час, час, о котором мы будем вспоминать всю жизнь.

Дора вздрогнула; в его словах ей послышалась смутная угроза. Она открыла глаза и быстро спросила:

– Вы намерены меня оставить... уехать?

Пан должен был объясниться. Он чувствовал, что момент был благоприятный.

Он быстро сказал с усмешкой, которую даже теперь не мог подавить:

– Я уже говорил вам, что Рексфорд держал себя дьявольски неприятно.

– Но ведь он не может разлучить нас? – спросила Дора. – И почему, Пан, почему Тони так суров? Он обыкновенно не бывает таким. Позвольте мне поговорить с ним; я знаю, я сумею заставить его понять.

Ирония этого положения доставила Пану миг горького удовольствия, но он тут же вспомнил, что должен привести Доре какую-нибудь основательную причину поведения Тони. Он выбрал ту, которая, по его наблюдению, всего легче задевает струны женского сердца, когда оно любит.

– Тони находит, что я слишком стар.

Он не сомневался в том впечатлении, которое произведут его слова, но такого горячего шумного протеста он не ожидал и был тронут.

– Вы стары, вы? – Дора даже рассмеялась. Ее забавляла такая жалкая критика ее кумира.

Как будто годы могли коснуться этого безупречного лица, этих густых курчавых волос, которые казались такими жесткими при солнечном свете и которые так приятно было ласкать!

– Семнадцать и... сорок, – пробормотал Пан, целуя ее.

Но она оторвалась даже от поцелуя, не в силах слушать такую ересь.

– Почти восемнадцать, мой дорогой. И если сложить наши годы и разделить пополам, получится двадцать девять, самый настоящий возраст, на котором, как говорит Джи, останавливаются все хорошенькие женщины.

Пан принужденно рассмеялся; настроение у него было невеселое, и шутки на эту тему не соответствовали его целям.

Он охладил Дору, резко сказав:

– Рексфорд непреклонен. Уговорить его нельзя; так что наше счастье, наше будущее находится в ваших руках.

Он взял ее руку и стал целовать от кончиков пальцев до самого локтя, наслаждаясь теплотой ее тела.

– Ах, дорогой! – прошептала Дора, тронутая этой лаской.

Она обняла его и прижала его черную кудрявую голову к своей груди, как бы защищая его. Пан чувствовал биение ее сердца, и его собственное сердце забилося сильнее. Все его существо запылало таким огнем, какого он никогда не испытывал.

Он так сильно сжал ее в своих объятиях, что она вскрикнула, но он заглушил этот крик поцелуем.

В это мгновение он был только любовником: все его планы мести, все его намерения перехитрить, унижить Рексфорда были забыты. Он помнил и знал только одно – что Дора лежит в его объятиях, прижавшись к нему. Он вдыхал запах ее волос, ласкал ее белую, нежную, атласную кожу и пил с ее губ волшебный напиток, который пьянил и наполнял его безумной страстью.

Урывками, между поцелуями, он шептал ей о любви:

– Моя... моя Афродита... Я у твоих ног... Обожаю тебя... обожаю тебя... Хотя раз... один только раз, прежде чем уйду. Я у врат рая, Афродита, неужели ты не слышишь моей мольбы... О, если бы ты любила, если бы ты любила меня так, как я люблю тебя, ты не могла бы отказать мне ни в чем...

При этом упреке, которого ни одна любящая женщина не может спокойно слышать, Дора не нашла, что ответить, она могла только вскрикнуть. Она была поработана страстью и видела перед собой только пылающие глаза Пана, который казался ей каким-то мистическим существом. Под его безумными поцелуями волосы ее упали, и одна прядь случайно попала между их губами.

Пан схватил ее и замотал вокруг своей шеи, как бы прикрепляя себя к Доре неразрывными узами, и одно то, что он мог сделать такую вещь, столь несогласную с кодексом, установленным им даже для любовных дел, служило доказательством, что в этот момент он забыл себя и помнил только одну свою страсть.

Они стояли среди мрака, в немом обожании, как влюбленные всех времен, минувших и будущих. Доре этот миг казался нереальным. Для нее перестали существовать и место и время; она не отдавала себе отчета, что сама она – дрожащее создание, связанное со своим возлюбленным прядью мягких волос. А Пан являлся ей не земным любовником, а воплощением самой любви, мистической, божественной смой, которая дарит счастье и страстное упоение...

Пробили часы, в кустах встрепенулась и защебетала птичка.

– Дора, – прошептал Пан, – я сейчас увезу вас домой. Мы будем одни – вы и я. Подождите здесь.

Он вырвался из ее объятий, промелькнул в полосе света и скрылся в темноте; шаги его постепенно удалялись и потом смолкли.

Как странно было остаться совсем одной под этой темной ажурной крышей из веток, сквозь которую мелькали звезды! Она чувствовала себя отрезанной от всего мира, выше его.

В тихом холодном воздухе долетали до нее издали звуки музыки, которые, казалось ей, повторяли те же слова, которые твердил в ней тайный голос: «Мой, мой прекрасный, мой дорогой...»

Из темноты показался автомобиль; лишь только он остановился, Пан посадил ее, закутал в меха, крепко прижал к себе одной рукой, а другой стал править машиной.

Она вся затрепетала при этом новом прикосновении. Она сидела, прильнув плечом к Пану, рука которого прижимала ее еще крепче. Они неслись навстречу ночи, которая, казалось, раскрыла им свои объятия и звала их к себе.

Пан на минуту остановил машину и наклонился над Дорой:

– Я не могу...

Он стал пить поцелуи с ее юных губ, как пьет путник в пустыне после долгого перехода.

– Ах, держать тебя всю в своих объятиях – без этого! – он дотронулся до ее меха.

«О, лежать в его объятиях, так близко, близко...»



Выйдя на террасу, Рекс закурил папиросу и стал прислушиваться. Кто-то пускал в ход автомобиль. Он напряг слух. Несомненно, это была его машина, и, столь же несомненно, она теперь уже быстро мчалась куда-то. Он вышел, собственно, чтобы поискать Дору и Пана, но теперь он бросился к гаражу, куда были поставлены все автомобили. Около решетки стоял их слуга, привезший Рексфорда, Пемброка и Гревиля.

– Это вы пускали в ход автомобиль? – спросил его Рекс.

– Нет, сэр, мистер Гревиль взял его и посадил мисс Дору.

– Куда они поехали, – спокойно спросил Рекс, – по какой дороге?

– В Гарстпойнт; я думаю, они поехали домой.

– Понимаю, – сказал Рекс, – хорошо.

Он медленными шагами двинулся в сторону, но, лишь только он отошел настолько, чтобы его нельзя было видеть, он пустился бежать; он много упражнялся и бегал хорошо, а теперь он понесся стрелой.

На бегу он соображал: «Через буковый лес, потом тропой через ручей, потом через длинный луг – он ужасно длинный – потом спуститься с холма к дому, потом...»

Он хорошо понимал, зачем он бежит, но только его предположения были неверны; Пемброк рассказал ему об ультиматуме, поставленном его отцом Гревилю, и он был уверен, что Пан и Дора решили этой ночью покинуть Гарстпойнт.

У Рекса в пятнадцать лет сложились уже вполне определенные взгляды и суждения. Это объяснялось, вероятно, тем, что знакомые его отца, Пемброк и другие охотники, часто разговаривали при нем, обсуждая различные жизненные вопросы или поведение общих знакомых, причем в выборе своих выражений и в изложении своих взглядов они нисколько не стеснялись присутствием мальчика. Постепенно и он научился рассуждать, как взрослый мужчина.

В данном случае он желал только одного, и по этому вопросу решение его было вполне определено: Пан не должен обидеть Дору, если только он успеет помочь ей.

Он бежал, задыхаясь, по замерзшему вереску и чисто по-детски думал: «Ведь он уже старик».

Ему было страшно жарко; трудно было бежать в бальных туфлях, которые не давали опоры его больной ноге, но он не думал отдыхать.

«Я бегу, точно в кинематографе, – засмеялся он про себя. – Джи будет страшно довольна, когда я расскажу ей».

Добравшись до парка, он пошел в обход, так как дорога там была удобнее.

Перед дверью стоял автомобиль.

– Какая наглость! – пробормотал он.

Он вошел в дом боковой дверью; нигде не было ни души; он вспомнил, что прислуга отпущена на вечер в деревню.

Он заглянул в музыкальную комнату; там тускло горел огонь в камине, но тоже никого не было.

С минуту он постоял в колебании у лестницы; во втором этаже у них с Дорой была общая гостиная, а этажом выше у каждого была своя комната.

Он стал подниматься, прихрамывая, по лестнице и свистнул: это был с давних времен их условный сигнал с Дорой.

Он вздохнул – полное молчание. Внизу в большом зале с легким треском упал кусок угля.

И вновь тишина.

Вдруг он услышал голос Доры, которая вслед за тем вышла из их гостиной; на ней была еще меховая накидка.

– О Рекс!

– Дора, – засмеялся он, – давно ли вы приехали?

– Ах, только несколько минут тому назад.

– Ты устала? Я бы отвез тебя. Я видел внизу, – в его голосе прозвучала нотка недовольства, – я видел, что машина дома. Тебя привез Пан?

– Да, – ответила Дора, продолжая стоять в дверях. Рекс подошел к ней ближе и тут заметил, что она страшно бледна.

– Ты плохо выглядишь, – сказал он, – выпьем чего-нибудь. В нашей гостиной остался почти весь коньяк, который несколько месяцев назад прислал нам отец. Выпей немного.

Он подошел к двери, и Дора посторонилась, чтобы пропустить его. Пан, сидевший на стуле возле огня, поднял свою черную голову и, позевывая, сказал:

– Я бы тоже выпил, Рекс.

Рекс, не отвечая ему, подошел к шкафику и стал отпирать своим ключом.

Пан, нервы которого буквально дрожали от сдерживаемого негодования и ненависти к этому помешавшему ему мальчишке, счел поведение Рекса обидным для себя.

– Ты слышал, что я сказал? – чуть не крикнул он.

Рекс выпрямился.

– Отлично, – ответил он с легкой иронией.

У Пана на лбу налились жилы, и в виске колотился пульс. Все его труды пропали даром, он не достиг ровно ничего, случай был упущен, и навсегда, благодаря этому выследившему их шпиону, которого, конечно, натравил на него Рексфорд.

Он медленно встал и, пройдя через комнату, подошел к Рексу, спокойный вид которого приводил его в бешенство. Его злило такое полное самообладание в молодом человеке. Как молния, ударившая в скалу, разрушает ее, так безумная ярость, страсть, неудача и унижение, которые пришлось ему вынести, окончательно затуманили его разум. Глаза его застилал туман, лицо было обезображено гневом.

– Твои манеры мне не нравятся, – с трудом проговорил он.

Рекс, не глядя на него, небрежно сказал:

– Очень жаль. – А потом вежливо добавил: – Стакан вина?

Пан кивнул головой в знак согласия. Он сделал усилие, чтобы овладеть собой, и вдруг почувствовал себя страшно ослабевшим.

Рекс поставил на стол сифон и стал наливать воду и херес. Пан подошел ближе. Рекс стал наливать ему, но в это время рука его соскользнула с рычажка сифона, и струя содовой воды облила рукав Пана.

Рекс рассмеялся, как сделал бы на его месте всякий другой мальчик, нисколько не желая обидеть Пана. Он тотчас сдержался, вынул из кармана носовой платок и, протягивая его Пану, сказал:

– Досадно, что эта штука вырвалась у меня из рук. – Он на секунду остановился так с протянутой рукой, не имея понятия о том, что Пан собирается сделать. Он не сообразил этого даже в тот миг, когда Пан поднял руку, и вдруг кулак Пана как молотом ударил его по кисти.

– Будь проклят, выродок, шпион! – прошипел Пан.

При этих словах лицо Рекса медленно покрылось бледностью, платок выпал из его руки.

– Будь проклят ты! – сквозь зубы прошептал он, уставившись пылающим взором на бледное лицо Пана.



Послышались шаги Доры.

С трудом выговаривая слова, чуть не шепотом, Рекс пробормотал:

– Я не могу... к несчастью, вы мой гость до завтрашнего дня, когда, слава Богу, вы уедете.

Гревиль, я ненавижу вас. Слышите? Настанет день, когда вы заплатите мне за это.

Вошла Дора, и он молча подал ей стакан. В эту минуту послышался шум: остальные также возвратились, и Рекс пошел их встретить.

– Гревиль, Дора и я в гостиной, – сказал он немного натянутым голосом. – Там чудесно у камина.

Отец спросил его:

– Вы все трое вернулись рано?

– Да, Гревиль правил моей машиной.

На лице Тони выразилось облегчение; у него было предчувствие, что Пан обманет его.

– Мы сейчас поднимаемся, – сказал он.

– Я, может быть, тоже приду, – сказал Рекс, – пожелать спокойной ночи Гревиллю, Доре и остальным.

Он никогда больше не называл Пана иначе, как Гревиль. Он прошел в ванную комнату обмыть руку; запястье его опухло и потемнело.

Краска медленно прилила ему к лицу и оставалась двумя яркими точками на обеих его щеках.

– Почему Пан уехал? – спросила Дора.

– Он был вызван. Телеграмма из Парижа. Дело, – отрывисто сказал Тони.

– Но почему же он не простился? – настаивала Дора.

– Чепуха. Я думаю, его отъезды и приезды не какое-нибудь государственное дело! Правда?

– Конечно, нет, – сказала Дора; в ее тоне зазвучала жалобная нотка.

– Поди смени платье, и поедem со мной верхом, – предложил Тони. – Я подожду тебя.

Дора послушно вышла; теперь, раз Пана не было, ей было безразлично, ехать ли верхом, сидеть ли одной или делать что бы то ни было.

Она послушно переоделась для верховой езды; отъезд Пана ошеломил ее. Ей не хотелось говорить, не хотелось ни за что браться.

Погода подходила к ее настроению; небо стального цвета было похоже на опрокинутое блюдо, земля была скована морозом; казалось, в такой день не могло быть ни радости, ни надежды.

Лошади были бойкие; с ними нелегко было справиться.

– Где Рекс? – спросил Тони.

– Он ушиб где-то руку.

– Всегда с ним что-нибудь случается, – пробормотал Тони.

Дора, которая всегда была такой горячей защитницей Рекса, на этот раз промолчала.

Время от времени Тони взглядывал на нее, и тупая боль щемила его сердце, а вместе с тем нарастала в нем ненависть к Пану. «Она еще так молода, – думал он, – она забудет. Теперь, конечно, еще слишком рано ожидать, чтобы она перестала о нем думать».

А Доре казалось, что лошади выбивают своими копытами: «Пан уехал, Пан уехал».

Только вчера она гуляла вместе с ним; солнце сияло, и все было так чудно, и, казалось, этому конца не будет. С этой мыслью в ней вспыхнула надежда. Он напишет, он вернется...

Она не позволяла сомнениям закрадываться в ее душу. Она была уверена, что только что-нибудь очень важное могло заставить его уехать. Воспоминания о нем волновали ее; она побледнела, потом покраснела, как белая роза на заре.

Она не могла удержаться, чтобы не спросить:

– Как вы думаете, скоро ли Пан вернется?

Она заметила, как лицо Тони вздрогнуло. Он в упор посмотрел на нее и жестким тоном сказал:

– Все, что я могу тебе сказать, это – что он уехал.

– Да, это я тоже знаю, – попробовала пошутить Дора.

В который уже раз Тони спрашивал себя, не лучше ли сказать ей всю правду. Он говорил об этом с Пемброком, но тот решительно отсоветовал ему это делать.

– От этого никогда не бывает ничего хорошего, – тоном мудреца сказал он, – а только дети начинают чувствовать, что с ними поступают несправедливо. Девушки находят более романтичным, когда у их возлюбленного нет ни гроша. Неизвестно почему. Как бы то ни было, они перестают это находить, когда выходят замуж. Самый скверный метод – это ставить препятствия. Попробуй поставить между девушкой и человеком, которого она любит, несколько хороших барьеров, и можешь быть уверен, что она перескочит через них прежде, чем ты успеешь оглянуться. Нет, друг мой, сиди смирно и молчи. В данном случае, как и всегда, молчание золото. Разоблачением истины ты только возведешь его в герои, и она начнет боготворить его. Дай ей успокоиться, и пусть она не думает, что с ним или с нею поступили

дурно, иначе это будет ад. Я знаю женщин.

Разговор этот происходил утром в курительной комнате, и тогда Тони согласился со своим приятелем, но теперь, смотря на жалкое, утомленное лицо Доры, он начинал сомневаться в справедливости слов Пемброка.

Но что он мог сказать? Если он только обмолвится чем-нибудь, будет очевидно, что он знает все. А, кроме того, своим молчанием он избавлял Дору от необходимости быть откровенной.

Они заехали позавтракать к Джи.

– Вот это очаровательно, – приветствовала она их. – А где Рекс?

Ей рассказали про его руку...

Джи не расспрашивала. Она никогда не делала никаких замечаний по поводу болезней Рекса, но в душе желала, чтобы все эти болезни приключались с ней вместо него. Они завтракали за маленьким круглым столом, украшенным первыми цветущими гиацинтами.

– Дивный запах, – сказала Джи, – но только для цветка, для духов он был бы слишком силен. Да, по поводу духов, Дора, я хочу сказать тебе, что всякая женщина, если она хочет быть обаятельной, должна знать и применять три вещи: духи, страсть и искусство распознавать людей. Если женщина умеет приспособлять эти три вещи к своей жизни и к своим душевным переживаниям, она пойдет далеко.

– Многие проходят немалый путь без последнего качества, – сказал Тони.

– Да, уходят слишком далеко, и по дурной дороге, – возразила Джи.

Дора чувствовала себя очень утомленной; весь разговор Джи с Тони казался ей каким-то ненужным, бесцельным. Она с нетерпением ждала, когда можно будет вернуться домой.

Дома, по крайней мере, она останется одна и может отдаться воспоминаниям.

Для нее наступили дни воспоминаний и бессонные ночи, когда лежишь и вновь переживаешь все, что было, воображаешь, что целуешь и тебя целуют.

Первые дни были для нее мучением: она ждала письма, но оно не приходило. Случайно как-то Тони упомянул, что Пан уехал в Индию. Конечно, оттуда письма не могут прийти скоро.

Прошел месяц, два, а их все не было; тем не менее Дора не теряла веры. Она продолжала ждать и гнала от себя все сомнения. Наконец, пришла весна, а с нею вновь пробудилось прежнее томление, ожили прежние желания.

«О Пан, Пан, быть опять подле тебя, в твоих объятиях, поцеловать тебя еще раз...»

Весенние ночи с их теплыми ветрами и чудным ароматом цветущих трав и цветов были для нее полны тоски.

Она стала худеть; под ее чудными зелеными глазами появились круги, точно отпечатки влажных фиалок.

И все-таки она продолжала ждать. Она была слишком молода, чтобы перестать верить. Настоящая любовь должна быть бесконечна, а если эти поцелуи и нежные слова не были от любви, тогда все в мире ложь.

Она спала плохо, порою совсем не спала; полулежала на подоконнике и смотрела на звезды, вспоминая прошлое и ожидая утра, которое могло принести с собой письмо.

Однажды утром вошел к ней Рекс, весь сияя, и сообщил, что в аллее, которую посадила еще Франческа, за розовым садом, расцвели во всем своем великолепии миндальные деревья.

– Это изумительно красиво! – сказал он. – Пойдем, Дора, ты должна полюбоваться.

Утро было яркое, каждый лепесток блистал на солнце, как изумруд, небо было совершенно синее, и только легкие облачка бежали по нему, как будто играя.

На фоне этой синевы и белизны ярко выделялись розовые миндальные цветы. Они были так

пышны и прекрасны, что нельзя было от них оторвать глаз.

– Встань здесь, – сказал Рекс Доре и поставил ее посредине аллеи, между двумя рядами деревьев. – Теперь смотри вдоль аллеи!

Это было так красиво, что казалось, будто смотришь в сердце розы, но при виде этой красоты Дора почувствовала себя еще более несчастной. Смеющаяся природа была ей невыносима, как удар, нанесенный по открытой ране.

Она отвела глаза от миндальных деревьев и грустно взглянула на Рекса...

Он встретил серьезно ее взгляд и не стал ее ни о чем спрашивать, а просто, помолчав, подошел к ней, взял ее под руку и сказал:

– Этот хаос красок немного слепит глаза.

Он довел ее до дома, и у порога они расстались.

Ночью пронеслась буря; Дора слушала, как она бушевала, а потом, когда все стихло, она вышла освежиться.

Она очутилась, как ей показалось, в совершенно незнакомой части сада, перед аллеей обнаженных качающихся деревьев.

Но ведь позади был сад из роз, а это разве были не миндальные деревья в своем роскошном цвету? Она подняла голову: на голых ветках висело несколько лепестков; один случайно оторвался и упал вниз, как бледная слеза.

– Перемена была бы полезна, – сказал Тони. – Как вы думаете, Джи?

– Я говорила это уже три года тому назад, – ответила Джи, – но тогда мне сказали, что Дора не соглашается. И, конечно, она не могла быть согласна, так как это было бы для ее пользы, а она еще слишком молода, чтобы считаться с пользой; это я тоже говорила.

– Так надо это сделать теперь, – мрачно сказал Тони. – Я больше не могу оставаться в этой обстановке; дом стал похож на морг; Пемброк уехал, Рекса нет, и мы остались вдвоем с Дорой. А она или охотится, или упражняется в пении, когда же она не занята ни тем, ни другим, она молчит.

Он помолчал минутку, а потом выпалил:

– Проклятый Пан!

– Не так громко; просто «проклятый» будет столь же действительно.

Тони повернулся к Джи и пристально посмотрел ей в глаза.

– Как вы думаете, интересуется ли она им еще? Джи вздохнула и стала нетерпеливо похлопывать по палке для ходьбы своими тонкими, украшенными кольцами пальцами.

– Трудно судить молодость, – сказала она, наконец. – Мне кажется, она интересуется им, но не до такой степени, как раньше. Даже в восемнадцать лет нельзя вечно пылать, как в лихорадке; но, с другой стороны, именно в этом возрасте страсть не может угаснуть. Только теперь предмет ее страсти уже не Пан; вместо него осталась лишь память о нем, а за ней горит огонь, который просвечивает так ярко, что заслоняет образ его самого. Молодость никогда не помнит, но вместе с тем никогда и не забывает. Обратите внимание – тут есть разница. Юность легко выбрасывает из своей памяти то, до чего ей нет дела, и с дьявольским упрямством цепляется за главный факт. Она безгранично верит в слова «никогда» и «вечно», как будто они соответствуют действительности, а не являются просто сентиментальным парадоксом. Да, заставь ее переменить место; она так прекрасна, в ней столько жизни – ей это принесет пользу. Мы были глупы, что верили в целебную силу времени. Время редко исцеляет настоящих влюбленных, наоборот, они начинают сами любоваться своей верностью. Надо выбить Дору из колеи, окружить ее новыми людьми. Пусть это будут не Кольфаксы или Окгэмптомы и все те, кто постоянно был около нее, а другие, которых она совсем не знает. Музыка и охота лишь в виде отдыха, но они не могут быть целью жизни.

– Гермiona возьмет ее к себе, – утрюмо сказал Тони, подразумевая свою сестру.

Он сказал это таким голосом, как будто возвещал о каком-нибудь бедствии.

– Это было бы хорошо, – согласилась Джи. Водворилось молчание, и в тишине доносился из музыкальной комнаты голос Доры; она пела романс Гана.

Тони вздохнул.

– Вечно какую-то песню без слов, – сказал он сердито. – Почему она не может спеть хорошую балладу, что-нибудь, что можно понять, а это Бог знает что...

– Да, но это великолепная вещь, – тихо сказала Джи. – Слушай!

Тони стал слушать с выражением человека, купившего за большие деньги ценную вещь, в которой он ничего не понимает, и жалеющего о затраченных деньгах, но вместе с тем получающего большое удовольствие от похвал, расточаемых другими его покупке; это как будто вознаграждает его за произведенную затрату.

Дора пела так, что и кафешантанные куплеты в ее исполнении показались бы прекрасными. Когда она умолкла, было такое чувство, точно чего-то недостает.

Немного позже она сошла вниз.

– А, вот и вы оба! – воскликнула она. Даже речь ее переменилась. Ее интонации стали мягче: самые пустые слова, когда она говорила, приобретали какую-то особую прелесть.

Она остановилась у окна, любуясь весенним утром, а Джи, глядя на нее, подумала: «Боже, как прекрасна красота».

И действительно, все в ней было прекрасно: нежно-розовый цвет лица, ее блестящие густые волосы, от которых веяло теплотой, но лучше всего были ее чудные зеленые глаза – жасминовые глаза, как удачно назвал их когда-то Рекс.

О зеленых глазах говорят, но они почти никогда не встречаются в действительности и оказываются по большей части просто карими; но Дорины глаза были светло-зеленые, как вода при ярком свете, а когда были в тени, напоминали жасминную листву.

Только теперь эти глаза больше никогда не смеялись.

Джи с прискорбием видела это и видела ненормальную худобу девушки.

«Надо ее вырвать отсюда, – подумала она. – Подавленный темперамент – это чертовская штука».

Обратившись к Доре и наблюдая, какое это произведет на нее впечатление, она сказала:

– Дорогая моя, ты проведешь сезон у Гермiony Лассельс.

Дора повернулась.

– Разве я хочу провести сезон у Гермiony Лассельс? – спросила она.

– Несомненно, тем более что так или иначе тебе придется провести сезон в Лондоне, – ответила Джи. – Ты едешь завтра.

– Значит, мною распорядились, – пробормотала Дора, глядя на Тони.

– Тетя думает, что так будет хорошо, – поспешил он объяснить.

К их удивлению, Дора сказала довольно безучастным голосом:

– Что же, может быть, там будет веселее, – и медленно побрела к двери.

Когда она вышла, Джи сказала:

– Это весна, дорогой мой, и тут налицо ее обычное влияние. Дора чувствует себя подавленной. Берклей-сквер будет отличным лекарством от этой болезни; вспомни мои слова.

– Хотелось бы, чтобы так было, – сказал Тони разочарованным тоном.

Он ожидал, что произойдет стычка и он будет иметь случай проявить свой авторитет или, по крайней мере, даст понять, что он может его проявить, и вдруг такая покорность отняла у него возможность показать то, чего на самом деле у него не было.

Одним из самых неприятных моментов в жизни бывает тот, когда обнаруживается, что другие уже давно видят вашу слабость, а вы были уверены, что только вы одни ее замечаете.

После отъезда Джи Тони пошел прогуляться. Он не переставал проклинать Пана, к которому он испытывал чувство ревности. Он сознавал, что Пан отнял у него Дору. С той несчастной зимы, когда все это произошло, она уже никогда не была прежней. Иногда доходили смутные слухи о Пане, о его непрекращающихся сумасбродствах, о том, что он был в Бухаресте, Биаррице, Берлине – там, где веселье и женщины. Все эти слухи Тони, не стесняясь, передавал Доре, но она ничем на это не реагировала.

Пан был бы в восторге, если бы он знал, какую победу он одержал, влюбивши в себя Дору: жизнь Тони стала абсолютно пуста.

«Может быть, Лондон заставит ее забыть, – подумал он, вздохнув. – И есть о ком вспоминать. О Пане, который после нее любил не менее десятка женщин и ее покинул только потому, что предпочел ей деньги!»

Тони никогда не мог решиться открыть ей всю правду: все-таки Пан был его братом, у них был один отец.

Кто бы, находясь в таком положении, мог решиться на это!

Они отправились в город на другой же день. Предполагалось сделать для Доры жизнь возможно более привлекательной. Конечно, она и раньше бывала в Лондоне; Тони и Джи возили ее туда ежегодно, и тогда эти поездки носили случайный характер, и для них не требовалось никаких особых приготовлений. Теперь же, когда она должна была остаться там надолго, необходимо было снабдить ее новыми платьями и прочими предметами туалета.

Гермиона, или Ион, как она сама приказывала себя называть, к великому негодованию Джи и Тони, не оказалось дома; Дора отнеслась к этому безразлично; она и раньше встречала эту даму и не питала к ней особого чувства.

Хозяйку ожидало множество гостей, которых Джи и Дора знали только по именам и которых Тони совсем не знал. Был подан чай, и за ним председательствовали Джи и Дора.

В шесть часов явилась Ион. Это была пышущая здоровьем женщина, но она напускала на себя такой вид, будто она страшно утомлена. Ей нравилось производить впечатление хрупкого создания, и ее великолепные модные платья были также рассчитаны, чтобы производить этот эффект.

Муж ее, Чарльз Лассельс, обожал ее, и она заботилась о том, чтобы это чувство в нем никогда не угасало; он не был умен, но она сумела сделать его интересным и не пропускала случая выразить ему свою привязанность.

Живость ее, несмотря на томный вид, была неистощима, и ее одинаково ценили и любили и как хозяйку, и как гостью.

Как только она вошла, комната как будто наполнилась веселым светом солнца. Она со всеми перецеловалась, всех назвала «дорогими», заявила, что она «умирает, так хочет чаю», зажгла папироску и тотчас стала делать разные предположения относительно вечера, а в то же время мысленно оценивала Дору: «Избалована, добра, своевольна, страстна, с характером или, по крайней мере, будет с характером. Забавная девушка. Хорошо, что она красива».

Они пообедали в половине девятого, в десять отправились смотреть какую-то пьесу, которая окончилась без четверти одиннадцать; потом поехали к кому-то в гости, пили шампанское и танцевали.

В два часа Тони отвез Дору обратно на Берклей-сквер, а сам отправился в отель, жалея, что Джи уже уехала, и в душе радуясь тому, что на другой день ему тоже можно будет возвратиться в Гарстпойнт.

Утром Дора проснулась в девять часов, поделилась с приехавшей с нею Эмилией своими впечатлениями вчерашнего дня, расспросила ее, как она провела вечер, приняла ванну и, считая долгом оказать внимание Ион, отправилась к ней в комнату.

Ион была еще в пеньюаре, с распущенными волосами, перевязанными сзади лентой. В таком виде ей можно было дать не более тридцати лет, хотя ей было уже сорок три. Она не красила волос, а только мыла их в каком-то настое из трав, чем при меньшем беспокойстве достигался тот же результат.

По правде сказать, она любила только самое себя, а также своего мужа и сына, составлявших как бы часть ее самой, но ей были не чужды родственные чувства. Кроме того, дом был так велик, что пребывание в нем Доры не доставляло ей никакого беспокойства; не следовало забывать, что Тони был богат и щедр.

Чарльз был ничтожеством, но в Лондоне, владея несколькими пароходами, он играл роль промышленного магната, а в деревне был просто добродушным помещиком. Николай, сын Ион, учился в одном колледже с Рексом. Это был беззаботный, веселый и красивый мальчик с хорошими манерами.

К несчастью, он не унаследовал блестящего ума матери, и Ион приходилось утешать себя тем, что он, по крайней мере, унаследовал ее и отцовскую красоту. Это было уже немало, но

еще важнее в ее глазах было то, что он считал мать самой удивительной женщиной в мире.

Ион, никогда ничего не требуя, ни на чем не настаивая, всегда умела поставить на своем. Она добивалась этого тем, что применяла свои силы и свое внимание, нисколько этого не показывая. Женщины любили ее за то, что она говорила с ними, а не про них, и вообще было очень мало людей, которые не были бы к ней расположены. Она сама приписывала это, во-первых, своему очарованию, во-вторых, своему дому и, наконец, отсутствию в ней всякой напыщенности, что было вполне верно.

В обществе существуют два разряда людей, не зараженных этим последним недостатком; к первому относятся те, кто не ездит с визитами к сильным мира сего и не называет их при публике уменьшительными именами, имея эту возможность, а ко второму – неисправимые идеалисты, о которых вообще не приходится говорить.

Нетрудно догадаться, к которому из двух принадлежала Ион. Она была совершенно неразборчива в своем гостеприимстве; часто она даже совсем не замечала, кто у нее бывал, и в результате ее гостями оказывались более или менее остроумные женщины, женщины с известным социальным положением, получившие определенное воспитание, женщины, желавшие сохранить своих любовников, но одновременно с этим заботившиеся о своей репутации, артисты, верные друзья Чарльза и *habitués* Ион, а также разношерстная компания из лондонского денежного мира.

Ион была вполне современной женщиной, и целью ее жизни было хорошо проводить время.

Джи была бы очень смущена, если бы она была знакома с ее взглядами; по счастью, она их не знала, иначе она, конечно, не посоветовала бы поручить ей Дору. Она предполагала, что у всех Рексфордов один и тот же кодекс поведения. Что касается Тони, то он тоже совершенно не знал взглядов своей сестры, да и не узнал бы их, даже прожив целый месяц на Берклей-сквер.

Единственное, на что обращала внимание Ион, когда дело касалось Доры, это, чтобы она хорошо сидела на лошади во время катанья. Она указывала ей, где она должна заказывать свои платья, сообщала, какие удовольствия предстоят им в течение дня, говорила ей, что она красавица, и спрашивала, не хочет ли она выйти замуж, на что Дора отвечала «нет».

– Ах, почему? – спрашивала Ион. – Это лучший путь в жизни. Многих он смущает потому, что, по установленному мнению, основой брака должно быть взаимное обожание. Как будто любовь может длиться вечно! Каждая женщина должна быть настолько развита, чтобы знать, от чего происходит и сколько времени может длиться то чувство, которое все рано или поздно должны испытать и которое принято называть любовью. Взгляните на меня, – продолжала она, улыбнувшись Доре, – я вышла за Чарльза двадцать два года тому назад, и не было ни одного дня, когда бы я об этом пожалела, а вместе с тем я никогда не была влюблена в него. Он мне нравился, я находила его красивым и считала вполне подходящим для мирной, спокойной жизни. Он обожал меня, а я была к нему привязана, и никто не нравился мне больше, чем он. У нас были одни и те же вкусы – по крайней мере, я предвидела, что они станут одинаковыми, так как он был очень податлив. Мы оба любим детей и любим хорошо проводить время, а кроме того, как я уже сказала, он любит меня.

– А верите ли вы в любовь? – спросила Дора. – Я хочу сказать, считаете ли вы возможным, чтобы в жизни встречались такие же романы, как те, о которых мы читаем, – с неумирающей любовью, когда один для другого является в жизни всем...

Ион взглянула на Дору; Тони и Джи ничего не сказали ей; она была огорчена, догадываясь, что у них было что сказать.

– Вы имеете в виду такую любовь, как между Ромео и Джульеттой или Паоло и Франческой? Да, верю, но только в отношении женщин, и то в исключительно редких случаях. Женщины, которые тратят свои душевные силы на любовь, никогда не бывают по-настоящему



влюблены, а, к несчастью, очень многие женщины с темпераментом расходуют его именно так. Чтобы любить, моя дорогая, нужно иметь много свободного времени и полную независимость суждений и взглядов, а этого так трудно достичь! Кроме того, нужно обладать умением жертвовать собой, великодушием, скромностью – всеми этими скучными добродетелями, которые не скучны только тогда, когда ими управляет блестящий ум; а для обыкновенных мужчин и женщин роман невозможен. Мне жаль, что приходится огорчать вас, но это правда. Гораздо лучше весело проводить время, что мы и собираемся сейчас делать. Одевайтесь скорее, автомобиль подадут к одиннадцати.

Ей порядочно уже надоело возиться с Дорой в течение дня, хотя она и продолжала быть любезной. К счастью, Доре пришла мысль на следующий день возобновить уроки пения. Ион как раз во время урока случайно поднималась по лестнице и остановилась как зачарованная. Она знала толк в музыке – этого требовала избранная ею роль в обществе; она сразу оценила голос Доры и тотчас же поняла, какую приманку он составит для ее предстоящего вечера.

Как только романс был окончен, она вошла в гостиную, где Кавини чуть не плакал от восхищения.

– Какой голос! – сказал он ей, закатывая глаза. – Какой голос!

Не стесняясь присутствием Доры, с чисто неаполитанской откровенностью он стал восхвалять ее красоту и сложение, а также темперамент.

На следующей же неделе Ион устроила большой вечер, на котором Дора пела с большим подъемом. Она имела бешеный успех и тотчас завоевала себе определенное положение в обществе.

Рекс, приехавший с Николаем навестить их, был поражен происшедшей переменой. Он стоял, прислонившись к окну своей длинной фигурой, и глядел на нее.

– Что же ты теперь предполагаешь делать? – спросил он.

Дора рассмеялась:

– О, просто жить и хорошо проводить время, как постоянно говорит Ион.

Он кивнул головой.

– Значит, сделаться такой же, как Ион.

– Что же, может выйти и хуже!

– Неужели ты способна восхищаться фальшивым бриллиантом? Я допускаю, что подделка сделана хорошо, но все-таки это не настоящая вещь.

Дора опять рассмеялась; Рекс был такой смешной и забавный.

– Бедная Ион, как это жестоко!

– О, она сама первая стала бы смеяться, – уверял Рекс. – Ведь она считает ложью все то, что не льстит ей.

Дора была рада приезду Рекса и Николая: оба были красивы, веселы, остроумны; оба очень тщательны в своих костюмах.

Николай откровенно не хотел ничего делать.

Рекс намеревался, как он объявил, где-нибудь, когда-нибудь в один прекрасный день заняться делом.

Его физический недостаток почти совсем исчез; он лечился, упражнялся, подвергался операции, чтобы стать вполне здоровым, и, кроме того, теперь уже не выглядел таким изнеженным, как раньше.

Они все четверо – Рекс, Николай, Дора и Ион – прожигали жизнь: веселились, болтали, танцевали и... порядочно пили.

Каждый пил и веселился, и если кто-нибудь выпивал лишнее, то веселился вдвойне.

В письмах к Джи Рекс не был особенно откровенен и умалчивал об их образе жизни;

отпуск его был краток, но он все-таки урвал из него несколько дней и поехал повидаться с ней, хотя ему не хотелось уезжать из Лондона. Он рассказал ей об успехах Доры, распространялся о ее красоте и о доброте Ион, но умолчал о том, в какой компании и каким образом они с Дорой проводили время.

Он отправился обратно накануне дня, когда кончался его отпуск, намереваясь как раз поспеть к большому торжеству, которое должно было быть заключительным. Был конец мая, поезд мчался вдоль подстриженных изгородей со сверкающей листвой и полей, усеянных одуванчиками.

Лондон, освещенный золотисто-розовым закатом, был великолепен. На улицах – сплошные толпы народа, магазины пестрели всевозможными цветами. Дом Ион был украшен к предстоящему вечеру: на окнах стояли ящики с маргаритками и лобелиями, по лестнице был разостлан красный ковер.

Рекс чувствовал себя веселым и счастливым, как только может чувствовать себя беззаботная юность. Входя в дом, он увидел перед собой Николая, который поднимался по лестнице, и окликнул его.

Они зашли вместе в комнату Николая выпить коктейль.

– Где Дора? – тотчас спросил Рекс.

– Одевается или уже улетела куда-нибудь, не знаю, – ответил Николай. – Знаешь, Шропшайр уже объяснился с нею.

Рекс почувствовал, как сердце его сжалось; он спросил вполне спокойно:

– А Дора?

– Она не хочет, – торжественно заявил Николай.

Рекс засмеялся.

– Она упускает хороший случай, – заметил Николай с упреком в голосе, смотря на него. – Титулы, именина, денег до черта и, в общем, славный малый.

– В общем, немало вместе для одного, – раздражительно ответил Рекс.

Николай покачал головой; он был из тех юнцов, которым кружит голову блестящее положение других.

– Что же, ведь живешь только раз, – заметил Николай; он не любил спорить с Рексом.

– Что сказала твоя мать? – внезапно спросил Рекс.

– Да ничего. Просто смеялась. Шропшайр сначала обратился к ней, следуя доброму старозаветному обычаю. Он смотрел на это серьезно.

– Где же, наконец, Дора?

– Да я же сказал тебе: или она дома, или ее нет дома. Я не знаю.

Рекс отправился искать Дору, но не нашел.

Он встретился с нею только за обедом, который происходил в отеле «Ритц», где случайно собралось большое общество. Рекс очутился за столом как раз напротив Доры, а рядом с ней сидел лорд Шропшайр, видимо находившийся в неважном настроении, которое он не умел скрыть.

Встретившись глазами с Рексом, Дора улыбнулась ему.

Он почувствовал, что сердце его сжалось, и на минуту ему как будто трудно стало дышать.

Он стал смотреть на Дору и нарочно старался представить себе ее помолвленной с Шропшайром.

Вдруг он услышал голос последнего, который говорил ему:

– Послушайте, Гревиль, кого это вы намерены убить?

Рекс вспыхнул; он почувствовал, что покраснел до корней волос, и рассмеялся как можно более естественно.

– Держу пари, что есть кто-то, – продолжал приставать Шропшайр, – у вас был опасный огонек в глазах, честное слово.

«Что такое творится со мной?» – подумал Рекс.

Ему стало стыдно за себя; он решительно повернулся к своей даме и вступил с нею в разговор, почти не глядя на Дору.

Когда наступило время уходить, Дора подошла к нему и шепнула:

– Пойдем домой пешком; тут только несколько шагов, а ночь такая дивная.

Он взял ее под руку и тут только понял. Точно пламя потекло по его жилам до самого сердца, и сердце запылало.

Почти с ужасом он сказал себе: «Я люблю ее».

Ему показалось, что он идет рядом с ней не наяву, а во сне, что он вот-вот проснется и скажет: «Как странно, мне это представилось так реально!» Он чувствовал себя во власти чар; он вдыхал запах лондонских улиц в летний вечер, он слышал шум движения; он видел, как из мягкой мглы вынырнул автомобиль с блестящими фонарями. Дора что-то говорила, а в душе его машинально повторялись все те же слова: «Я люблю ее, я люблю ее».

Он никогда не думал о любви как о чем-нибудь таком, что должно было с ним случиться. В его жизни не было для нее места. Даже в последнее время в Оксфорде, где в жизни большинства молодых людей любовь стояла на первом месте, он оставался незатронутым ею. В его жизни играли роль только две женщины – Джи и Дора, и больше ему никого не нужно было. Он и не отдавал себе отчета в том, какую решающую роль сыграло влияние Джи в образовании его характера.

Но в этот вечер ему казалось, что он видит перед собой совсем новый, чудесный мир, в котором вместе с тем есть что-то смущающее, опасное.

– Как ты молчалив, – сказала Дора, – мы уже почти дошли, а мне хотелось услышать от тебя, что делается у нас дома.

Рекс поспешно, но довольно несвязно стал рассказывать о своей поездке, и в то же время он старался крепче прижать к себе ее руку, и ему хотелось крикнуть: «Не отнимай руки, мне так приятно держать ее».

Думая так, он спрашивал себя, что бы сказала на это Дора.

Он не мог разобраться в своих ощущениях; это было какое-то мучительное, пьянящее чувство, которое совершенно выбивало его из обычной колеи.

Он взглянул на профиль Доры, и ему показалось, точно он видит ее в первый раз. Тут только ему вспомнилось, что, когда он был в Пойнтерсе, его все время тянуло обратно в Лондон. Он вышел погулять в сад с Джи и, стоя около душистых табачных цветов, почувствовал в себе какое-то смутное беспокойство.

Но тогда он еще не думал о Доре; это впервые случилось с ним, когда он представил себе ее влюбленной в Шропшайра; тут только он понял, как будет ужасно, если она полюбит другого: он не мог допустить и мысли об этом.

В этот миг ему казалось, что любовь не может остаться без ответа. Если она зародилась в его сердце, она должна быть и в сердце той женщины, которая ему ее внушила. Он верил в то, что любовь рождает любовь, не зная, что эта вера не что иное, как самая мучительная ирония жизни.

Может быть, благодаря тому, что он так долго болел и был лишен возможности жить той беспечной жизнью, которую обычно проводят мальчики, в нем развилась склонность к мечтательности, игравшая большую роль в его развитии. Он вкладывал в свое чувство любви больше, чем всякий другой молодой человек в его годы, а кроме того, он вносил в нее одно редкое свойство, обычно не совместимое с любовью, – он мог философствовать.

Он так много читал, так много мечтал, и, если не считать их взаимной любви с Джи, он был так одинок, что по взглядам своим он мог стать только или мизантропом, или мечтателем. Его честность, его неиспорченность, его прямота, а также невозможность до недавнего времени заниматься каким-нибудь спортом сделали его именно мечтателем.

Он был чист как по природе, так и вследствие здорового влияния Джи. И если он был немного педант, то вместе с тем он был самостоятелен и смел.

В нем пробудилось безумное желание излить то, что жгло его ум и сердце: сказать Доре о своей любви.

– Дора, – начал он, и ему показалось, что голос его звучит ровно.

Дора высвободила свою руку и спросила:

– Ты что-то сказал, Рекс?

Этот простой вопрос подействовал на него хуже насмешки; он не мог продолжать.

Она уже поднималась по лестнице, по красному ковру, он шел за нею; момент был упущен.

Ион стояла у входа в зал с немного утомленным видом, но прекрасная, как всегда. На ней было платье, которое Николай непочтительно называл «карманным экраном». Часть гостей уже собралась, музыка играла.

Рекс поспешил пригласить Дору на несколько танцев: позднее она должна была петь.

Ожидали на этот вечер также Рекамес, а Кавини должен был играть.

– Здорово! – воскликнул Николай, услышав перечень всех этих знаменитостей и красавиц.

Он танцевал с Ион, которая любила его, как никого на свете, и все еще видела в нем не молодого человека, а своего маленького сына, появление которого на свет было ее самой большой радостью в жизни. Они оба танцевали прекрасно, и рядом с ним она казалась его сестрой.

– Ты красавица, мама, и прямо персик, – сказал он ей.

– А ты – мой дорогой бэби, – ответила она, смеясь и вся сияя от удовольствия.

Рекс, танцуя с Дорой, чувствовал себя опять рабом своей мечты. Ему на самом деле казалось, что он видит Дору в первый раз; все прочитанные им стихотворения и романы, в которых говорилось о любви и о любимых женщинах, вставали в его памяти; все мысли его были точно окрашены в золотой цвет.

Во время танца Дора случайно наклонила голову и задела его щеку своими волосами. От этого прикосновения все существо его так радостно содрогнулось, что он бессознательно крепче прижал ее к себе и рука его, которой он держал ее, задрожала.

Неужели она не испытала того же? Она должна была испытать!

Когда он выпустил ее, сердце его усиленно билось, а молодая кровь играла, как вино.

Он не хотел больше танцевать ни с кем другим и выскользнул на балкон.

Лондон сверкал и шумел вокруг него, полный напряженной жизни, и он сразу почувствовал себя заодно со всем этим приливом жизни, с золотым светом внизу, с серебряным наверху и с сияющей, голубой ночью кругом.

На улице захохотал мужчина, голос девушки ответил ему смехом; сирень качала своими лиловыми кистями и наполняла теплый воздух сладким ароматом; раkitник блестел, как бледное золото.

Юность Рекса также пылала в нем, подобно факелу на горе, внезапно вспыхнувшему во всем своем пышном блеске.

– Я живу, я живу... – твердил он себе с возбужденным и юным смехом.

Ему страстно захотелось очутиться опять в саду Джи около табачных цветов и снова насладиться их опьяняющим запахом.

Сидеть там около них с Дорой и целовать, целовать ее!..

Он вдруг заметил, что оркестр умолк, что все направились в музыкальный зал.

Кто-то должен был петь – Дора или Рекамес, во всяком случае он хотел послушать.

Он увидел Дору рядом с Ион; Кавини стоял около них, несуразно размахивая руками и глупо улыбаясь.

Вдруг все стихло. Кавини перестал жестикулировать, уселся за рояль, и первые звуки «L'Heure Exquise» упали в тишину, как лепестки цветка.

Рекс слушал, полный упоения; каждая нота голоса Доры находила отклик в его душе.

Романс был окончен; наступила минута полной тишины, затем раздался взрыв аплодисментов.

Когда они смолкли, Рекс услышал за собой голос, который показался ему знакомым. Стараясь припомнить, чей это голос, он обернулся и встретился взглядом с темно-золотыми глазами Паскаля.

– А, Рекс!

Они холодно кивнули друг другу. Рекс отвернулся и продолжал слушать, но, хотя пение по-прежнему доставляло ему наслаждение, радость покинула его.

И сразу в его голове завертелся вопрос: как отнесется к этому Дора?

Ему недолго пришлось ждать ответа. Взглянув на Дору, он увидел, что и она заметила Пана и приветствует его своими чудными зелеными глазами, мерцающими так, как будто за ними зажглись свечи; на лице ее отразилось страстное упоение. Рекс почувствовал себя, как земной житель, видящий другого у врат рая. Но Дора достаточно овладела собой, и восторг на ее лице сменился официальной улыбкой.

А он?

О, несомненно, он тоже заметил радость Доры. Когда Рекс увидел его впервые, лицо его было спокойно, а теперь он страшно побледнел.

Рекс стал присматриваться к нему.

Пан постарел, его густые темные волосы на висках подернулись легкой сединой, около глаз и в углах рта протянулись бесчисленные морщинки, и все-таки, несмотря на все это, он был еще чертовски красив, и Рекс чувствовал, что ненавидит его за это.

Желая соблюсти вежливость, он направился к Пану.

– Когда возвратились? – спросил он.

– Только сегодня днем; из Парижа, Петербурга, Пекина.

– Интересное путешествие. По-видимому, вас побудило к нему созвучие названий? Надолго сюда?

– Не имею понятия.

– Где вы остановились?

– У «Ритца». Ты должен как-нибудь у меня пообедать.

– Благодарю, я уезжаю завтра. Мы с Николаем Лассельсом в Магдалене.

– А! Бледные тени моей юности!..

– В самом деле?

Им больше нечего было сказать, и они враждебно взглянули друг на друга.

– Ну а в Гарстпойнте что слышно? – небрежно спросил Пан.

– Все благополучно. Я недавно был там. Застал моего отца и Джи здоровыми.

Пана бесило, что Рекс употребил местоимение «мой», говоря о Рексфорде. «Надменный щенок», – подумал он и, растягивая слова, сказал:

– А Дора, кажется, сделала успехи?

И, не дожидаясь ответа, он воспользовался свободным проходом в толпе и направился к роялю.

У Рекса не хватило мужества тотчас выйти; сознавая свою слабость, он тем не менее остался в своем уголке и стал наблюдать их встречу. Снова он увидел, как мгновенно озарилось лицо Доры, но оно тотчас же изменилось и приняло холодное, насмешливое выражение. Рекс повернулся и пошел в другую комнату со смутным и горьким чувством в душе.

Когда Дора встретилась с Паном, ее охватила какая-то нервность; ей хотелось смеяться; она не знала, что сказать.

Она машинально подала ему руку, и это прикосновение освободило пружину, державшую в напряженном состоянии ее мозг; на нее сразу нахлынули воспоминания об их последней встрече, о той памятной зимней ночи несколько лет назад. Она обратилась к нему с банальной фразой:

– Итак, вы вернулись!

– Блудный сын вернулся, – ответил Пан. – Хотите помочь мне заколоть упитанного тельца завтра у «Ритца»? Я остановился там. А вы где живете?

– Ион пригласила меня на сезон.

– В самом деле? – Глаза его на мгновение блеснули. – Это великолепно. Я тоже должен остаться в городе!

Ион подошла к ним с радостным восклицанием:

– Ты? – сказала она, протягивая Пану руку. – После стольких лет отсутствия! Как ты поживаешь?

– Разве не все осталось по-старому? – ответил Пан.

– Ах, ты что-то потускнел, бедный мой.

– А ты блистаешь, – ответил он ей.

– Я это чувствую, почему же нет!

В то время как Пан разговаривал с Ион, Дора изучала его лицо, и это невыразимо волновало ее. Она так любила красоту, и вот опять перед ней было лицо того, кто когда-то был ее Богом; смотреть на него было уже счастьем. А она не только смотрела...

При воспоминании об их страстных, безумных, ненасытных поцелуях сердце ее мучительно и сладко затрепетало. Ей вспомнились все подробности их любви, такие незначительные и вместе с тем такие бесценные в глазах влюбленных. Она вспомнила, как его ресницы ласкали ее щеку, как она обводила его профиль своим пальцем, пока он не поймал его в плен своими губами...

Все это было, а теперь такая встреча...

В ее сердце звучал вопрос, на который вечно требует ответа женское сердце: «Как он мог? Как он мог так поступить?»

Как он мог спокойно стоять рядом с ней, он, который говорил ей: «Я бы вечно держал вас в своих объятиях».

Это кажущееся спокойствие вдруг показалось ей крайне обидным; она должна уйти, ей нечего стоять тут.

К ним подошел Давид Шропшайр, и при виде ее лицо его просияло.

– Мой танец, – радостно сказал он, уводя ее. Ион улыбнулась.

– Ты видел? – сказала она Пану.

– К стыду своему, должен сознаться, что не вполне ясно, в особенности зная твою поспешность во всем.

– Не во всем. Но в этом деле нужна быстрота. Давид хочет жениться на Доре, и я этому сочувствую. Она принадлежит к тем девушкам, которые нелегко делают шаг; очень уж она романтична. Но если она будет откладывать, то, пожалуй, никогда и не выйдет замуж. А это трагедия для хорошенькой женщины.

– Почему? – вяло спросил Пан; разговор был ему неприятен, но он не хотел обрывать его,

желая узнать побольше о Доре.

– А дети? – сказала Ион. – У Доры были бы чудные дети, не говоря уже о положении и обо всем прочем. Тони, конечно, может дать ей что-нибудь, но в общем немного. Естественно, все должно перейти к Рексу; он чудный мальчик и настоящий рыцарь.

– А что Рексфорд? – спросил Пан, несколько резко меняя тему.

– Что же, Рексфорд всегда останется самим собой. Пан предпочел бы, чтобы она не была так остроумна и распространилась подробнее.

– Говорил он с тобой о моих грехах?

Ему хотелось знать, как держать себя в этом новом положении с Дорой, которая находилась на попечении Ион.

– Дорогой мой, я вижу Тони раз в полтора года, и то на один час. Ему бы вечно не исчерпать предмета, который ты имеешь в виду; об этом не стоит и говорить.

«Значит, она не знает», – подумал Пан.

– А довольна ли ты тем, что Дора гостит у вас? – спросил он с напускной небрежностью, смотря по сторонам.

– О, я очень рада. Она одарена всем, что только можно пожелать найти в своем госте: она красива, талантлива, прекрасно одевается – я выбираю ей платья, – и, к счастью, она всегда знает, когда ей нужно помолчать.

– Потанцуем? – предложил Пан.



«Прочь воспоминания; я не хочу вспоминать, – с горечью твердила себе Дора. – Зачем он вернулся?»

Ее страшило это возвращение. Она боялась, что с ним вернутся и ее прежние мучения; она гнала от себя видения прошлого, и вместе с тем в ней уже росла уверенность, что ей не уйти от них, что она не в безопасности, что надежда потеряна и она вновь ранена стрелой, от которой уже начинает страдать.

Она старалась развлечься, бывала везде, где только могла, никогда не оставалась в покое, пугавшем ее.

Рекс уехал, не сказав ей почти ни слова, но она этого не заметила. Она всецело была поглощена мыслью, как бы убежать от своих воспоминаний. При виде ветки запоздавшего миндального цветка, с его маленькими светло-розовыми звездочками, сердце ее замирало, как от удара. Ей казалось, что она вновь стоит в саду, сильный ночной ветер обвеивает ее, по лицу бьет дождь, а миндальные цветы падают, падают, как белые слезы.

– Дивный цветок, – как-то раз сказала Ион, – но такой безумный. Самый хрупкий, самый очаровательный из всех цветов и не боится весенних заморозков! Неудивительно, что он первый вянет и никогда не доживает до лета. Не правда ли, в нем нет предусмотрительности?

Дора машинально засмеялась.

«Да, отсутствие предусмотрительности... И как верно, что хрупкие цветы вянут первыми!...»

Она нервно сжала руки. Опять она думает о прошлом, а этот путь ведет к отчаянию.

Пан бывал у них редко; во-первых, он вскоре ожидал очередных денег от брата, впрочем, эта причина едва ли сильно влияла на него; во-вторых же, он спешил закончить одно дело, сулившее ему большие неприятности.

Но помимо всего этого он избегал Доры, так как сам не знал, как ему с ней держаться.

Он совершенно не знал, что сказал ей Рексфорд, и не имел возможности узнать это. Он ждал и полагался на время, которое обнаруживает многое, в особенности если ему помогает такой ловкий человек, как Пан.

Избегая встреч с Дорой, Пан был очень доволен собой". Он уверял себя, что этим он бежит от искушения, заботится о благе Доры и держит данное Рексфорду слово. Поэтому он настойчиво отклонял все приглашения Ион.

Тем не менее он все-таки случайно встретился с Дорой на обеде, устроенном в модном ресторане Шропшайром, который был так неосторожен, что посадил Пана рядом с девушкой, сам сев по другую сторону от нее. Он ничего не знал о романе между ними и был уверен, что Пан в качестве родственника будет для нее самым подходящим соседом. На обеде в числе приглашенных присутствовала великая Рекамес, которая была «велика» во всех отношениях, по поводу чего один из ее поклонников заметил, что, так как мы никогда не можем достаточно насмотреться на красоту, то, следовательно, ее не может быть слишком много. Рекамес милостиво согласилась спеть, и Шропшайр распорядился, чтобы оркестр ей аккомпанировал.

Дирижер, итальянец, выступил вперед и, заявив, что он, конечно, знает репертуар дивы, выразил желание один ей аккомпанировать, на что получил разрешение и был вознагражден улыбкой прекрасных губ.

– Я спою вам английскую песню, – заявила Рекамес, – я не помню ее названия. Назовем ее «Любовь», это слово так понятно всем.

Итальянец заиграл, а она запела, замечательно отчетливо произнося каждое слово:

Всю ночь вздыхать и комнату пустую  
Шагами мерить,  
И видеть тень, заметную едва,  
Там, где лежала голова, —  
Это смерть.

Но ждать, гореть и звать тебя, рыдая:  
«Нет сил! Вернись!»  
И, наконец, прижав к груди, опять  
В безумном упоенье целовать, —  
Это жизнь! Это жизнь!

Дора сначала сидела неподвижно и внимательно слушала, но постепенно на нее вновь нахлынули воспоминания, и вдруг она почувствовала, что рука Пана касается ее руки. Она вздрогнула и на мгновение совершенно онемела, а затем с отчаянием предоставила ему свою руку, которую он сжал своими жадными пальцами. Ей показалось, что одновременно с этим он сжал и ее сердце и влечет ее к себе. Она не могла поднять на него глаз. Она слышала, как Рекамес снова запела и умолкла. Вокруг нее говорили, и она сама разговаривала с Давидом, но в то же время в ее сознание проникало только одно: это рукопожатие, от которого трепетало все ее существо и которое касалось ее души и всех ее чувств, как смычок музыканта нежно касается струн любимого инструмента.

«О, снова испытать эти поцелуи, снова лежать в его объятиях, снова внимать этим нежным словам любви, в которых сердце слышит столько еще недосказанного! Снова жить, проснуться, трепетать, мечтать и любить, пока день не склонится к закату». Случайно в ее памяти промелькнули стихи, выражающие мольбу любящей женщины:

Жизнь в разлуке, без тепла  
Немила.  
Об одном прошу судьбу,  
Шлю мольбу:  
Пусть вернет нам наши дни,  
Я твоя.  
Будем мы одни, одни —  
Ты да я!

Это было не совсем верно — она забыла эти стихи, но они как раз выражали ту невыразимую тоску и томление, которыми было полно ее сердце.

Все встали. Пан накиннул ей на плечи мантию с мягким меховым воротником и сказал своим обычным спокойным голосом:

— Не хотите ли пройти в сад, там у пруда с лилиями очень красиво!

Они вышли вдвоем; Доре казалось, что только они двое существуют на свете.

Пан взял ее под руку своей холодной рукой и повел мимо розовых кустов, казавшихся бледными при лунном свете, в густую чащу деревьев.

Они когда-то целовались под деревьями и теперь искали такого же убежища.

— Дора! — прошептал Пан. — Это безумие... Страстные, несвязные слова слетали с его губ и

падали, как дождь из золотых листьев. Она подняла голову покорно, с видом жертвы, и он поцеловал ее.

– Ах, вы любите меня... вы любите меня... Скажите это, – шептала она, прильнув к нему губами.

В этой мольбе вылились все ее страдания, весь страх, все годы ожидания.

– Скажите это... Скажите...

Он стал целовать ее, ловя своими губами ее слова, мешая своими поцелуями произносить их.

И вдруг с коротким, страстным смехом, в котором звучала уверенность победителя, он сказал:

– Я люблю вас, я обожаю вас...

Дора схватила его запрокинутую черную голову обеими руками и притянула его к себе так, что могла смотреть в упор в его блестящие глаза.

– Смотрите на меня, – прошептала она. – Смотрите мне в глаза. Вы должны, вы обязаны сказать мне всю правду. Почему вы покинули меня? Как вы могли? Почему вы мне ни разу не писали? О Пан, я ждала, ждала, я... Вы не знаете, что это значило для меня быть без вас... Каждый день я думала: может быть, придет письмо, может быть... Я караулила каждую почту. А вы знали, знали, что вся жизнь моя в ваших руках, и... все-таки уехали, оставили меня.

В эту минуту Пан солгал бы, даже если бы это стоило ему жизни. Он ни за что не согласился бы вновь лишиться ее, так как она подарила ему уверенность, столь ценную для человека в его годы, что он вновь способен любить. В Доре он нашел ярко выраженную личность, красоту и еще одно достоинство, которое играет большую роль в глазах некоторых мужчин, а именно то, что она уже имела определенное место в глазах света, этого законодателя, которому дано право принимать и отвергать. Имя Рексфорда, ее романтическое усыновление, ее голос доставили ей положение в обществе; но еще большую роль сыграла в этом отношении ее неотразимая свежесть и молодость. Многие проживают свои лучшие годы бледно и незаметно, не будучи в состоянии дать миру что-нибудь новое, заявить о своей личности.

Дора дарила всех вокруг себя своей лучезарной веселостью, своей блистающей красотой. Она возбуждала, как кубок искристого нектара; она жила каждым мгновением, каждой мыслью, всем своим существом – от кончиков своих роскошных волос до пят своих маленьких ножек, на которых она с такой легкостью порхала.

Понятно, что Пану нравилось любить ту, кого все любили, и вместе с тем знать, что любим он один.

Он был тщеславен, эгоистичен и слабохарактерен, и любовь к Доре поглотила его всего. Мысли его всегда были только с нею; он был счастлив только в ее присутствии. Он редко задумывался о том, в какое положение он попал; его нелепый брак не стеснял его до сих пор, почему бы он стал вредить ему в будущем?

Иногда в минуты утомления он давал себе слово не видеть больше Дору, но это не мешало ему в обычный час опять звонить к ней по телефону и улавливать о встрече.

Он никогда не заглядывал в будущее и не загадывал, чем все это кончится. Ведь это было только еще начало или продолжение, а кто же из влюбленных когда-нибудь предвидит конец.

Сорок пять – двадцать два; он старался не останавливаться на этих цифрах, говоря себе с легкой гримасой, что он никогда не интересовался математикой.

Да, наконец, что такое сорок пять лет для мужчины? Он благодарил судьбу за то, что не располнел, и за то, что его волосы остались густыми.

«Это уже половина победы, – говорил он себе. – Мелкие морщинки только придают интерес, но не дай Бог хотя бы только намек на лысину: тогда прощай любовь».

Как это ни странно, он не был влюблен в свою наружность; он был тщеславен, так как знал свою привлекательность для женщин, но черты и цвет лица его не интересовали.

Для Доры он был раем, солнцем и всеми звездами.

Годы безнадежного ожидания дали ей душевную зрелость и научили ее приспосабливаться к обстоятельствам. Пан нашел в ней замечательную чуткость. Она сразу догадалась, что ему никогда не нужно противоречить, а потому она всегда с ним соглашалась или уклончиво молчала.

Дора искусно изучила Пана, и хотя этот урок дался ей нелегко, он послужил ей на пользу.

За это время она сделала два открытия, а именно – что человек может разговаривать один, или, вернее, что ему удобнее разговаривать одному, а потому она часто хранила молчание, а затем – что мелкое самолюбие не является выгодным качеством для женщины.

Но главным двигателем всех ее поступков по отношению к Пану было ее обожание, которое всему придавало ту окраску, которая была для него желательна.

Его дурное настроение она замечала лишь настолько, чтобы постараться его рассеять. Ей пришлось познакомиться и с его ревностью, но и к ней она относилась лишь как к доказательству любви. Ревность Пана объяснялась его возрастом, так как он достиг той грани, когда вид юности побуждает тайное неудовольствие, когда собственное тщеславие старается не признавать ее цены, но вместе с тем она остается неоспоримым фактом.

В душе он возненавидел юность, и хотя продолжал говорить о ней с восторгом, но в голосе его не слышалось удовольствия.

Он восхищался молодостью Доры, но старался отдалить ее от молодых людей и барышень, искусно подсмеиваясь над ними, называя молодежь «пылкой», «шумной» и «банальной».

И Дора под его влиянием стала избегать шумных проявлений жизни, а если и допускала их, то только в отсутствии Пана.

Тем не менее она чувствовала себя вполне удовлетворенной и считала не потерянными только те дни, когда она видела или ждала Пана.

Однажды им удалось провести несколько часов вместе; поздно летом Пан предложил ей отвезти ее в автомобиле в Гарстпойнт.

Дора была в восторге, Ион тоже заинтересовалась этим путешествием.

– Только на одну ночь, – сказал Пан. – Вам не нужно брать с собой много багажа.

День с самой зари был душный и жаркий, но на дороге дул прохладный ветерок.

Они закусили в отеле, где завтрак, по мнению Пана, был именно таким, каким не должен быть завтрак. Но облако это скоро рассеялось; когда они пересекли поросший вереском луг, сделали остановку и уселись на красном растительном ковре, жизнь опять показалась им прекрасной. Сняв фуражку, Пан разлегся на спине, заложив руки под голову, и улыбнулся своей спутнице.

– Ну, что вы скажете? – поощрительно улыбнулся он.

Они оба рассмеялись; Дора наклонилась и поцеловала его.

– Еще и еще, – лениво говорил он, смотря на нее своими блестящими золотыми глазами; он обвил рукой ее шею и глубоко запустил пальцы в ее мягкие волосы. – О, какое вы восхитительное создание, Дора!

– О небо, как вы очаровательны, Пан! – весело передразнила его Дора.

Она выпрямилась, упираясь одной рукой в землю, а другой лаская его плечо. Он наклонился и поцеловал ее руку, и внезапно эта склоненная черная голова пробудила в ней нежность. Она положила его голову к себе на грудь и стала целовать его волосы.

Около них рос боярышник, бросая тень как раз на то место, где они сидели; густая синева неба сквозила сквозь ветви, где-то пела птичка, пчела летела со своей ношей и своим

жужжанием придавала деревенскую прелесть и покой солнечному полудню.

Дора лениво смотрела на вереск, местами уже выжженный солнцем. В стороне стояли деревья, резко выделяясь на фоне неба. Издали донесся свист паровоза, и этот долетевший к ним одинокий звук еще больше подчеркнул их обособленность от всего мира, еще больше скрепил их близость. Невдалеке в тени стоял автомобиль, являвшийся тоже эмблемой их близости. В нем они уехали из ресторана в ту памятную ночь, когда им казалось, что звезды светят прямо в их души.

Доре этот момент показался самым подходящим, чтобы поговорить о будущем.

Она тихо и вполне естественно спросила:

– Пан, дорогой мой, где мы будем жить? Здесь или где-нибудь за границей?

Он ничем не выразил своего неудовольствия, хотя в душе был раздражен этим вопросом, в котором слышалось ему как бы насилие с ее стороны над его волей.

Он немного отодвинулся под предлогом достать из кармана портсигар.

– А где бы вы хотели жить? – беззаботно спросил он.

– Возле вас везде будет рай, – шутливо сказала она; но в его движении и в тоне голоса ей почудилось что-то такое, отчего как бы тень опустилась на ее сердце. Она почувствовала, что Пан «ушел» от нее, хотя она еще не могла понять, отчего это случилось.

Немного стыдливо она сказала:

– Я... я предполагаю, что в конце концов нам придется где-нибудь основаться.

Пан рассмеялся:

– Я должен сказать, что вы оптимистка, моя дорогая.

Глаза его сузились, как всегда в минуты раздражения. Ему показалось, что папирosa его потухла, он бросил ее, и от нее загорелся вереск; он вспыхнул маленьким язычком аметистового пламени и тотчас погас.

– Вы сами не очень ободряете меня, – сказала Дора; в ее голосе слышалась нервность.

Вместо ответа он притянул ее к себе и прижался щекой к ее щеке.

– Нет, вы правы. Я говорю иногда гадкие вещи. Я это знаю. Я заслуживаю того, чтобы вы меня ненавидели, но я люблю, люблю, люблю вас! Слышите?

Как могла она не слышать и не быть поработенной этими словами, которые она любила слушать больше всего на свете?

Пан заставил ее опять лечь в вереск, а сам повернулся к ней боком и стал смотреть на нее.

Она улыбалась ему из-под опущенных ресниц, бросавших тень на ее глаза, которые казались зелеными с голубым отливом.

– Откройте их широко, – скомандовал Пан. – Еще шире.

Дора стыдливо повиновалась; она раскрыла глаза, и они загорелись чисто-зеленым блеском; Пан уверял, что они зеленеют, когда она его больше любит.

– Ну, теперь хорошо? – весело спросила она. Он посмотрел на нее с беспокойством: она была еще так молода, а между тем она так манила его своими наивно-страстными глазами...

Он наклонился, обнял ее и стал целовать так неистово, что сделал ей почти больно.

Она забыла про свой вопрос, который она только что задала; мир показался ей местом, где пурпурный вереск сходится с пурпурным небом, где веет теплый летний ветерок с моря и где любовь – такая жгучая радость, что она граничит с страданием.

Они долго лежали так, обнявшись. Пан достал папиросу, и они стали курить ее вместе, болтая, как только умеют болтать влюбленные, смеясь над пустяками, бесконечно, беспредельно счастливые.

Вдали по дороге проезжали велосипедисты, автомобили.

– Кому до них дело? – заметил Пан с пренебрежением.

– Наверно, время пить чай, – сказала Дора, – дорогой мой нам надо спешить, иначе мы никак не успеем домой к обеду.

– Кого это может беспокоить? – отозвался Пан, устремив на Дору свой жгучий взгляд. – Вас?

– О нет, нисколько, – ответила она. – Пока мы вместе, меня ничто не беспокоит, хотя бы мы никогда никуда не доехали.

Глаза Пана заблестели.

– Мне хотелось бы знать, серьезно ли думают женщины то, что говорят, – медленно сказал он.

Дора, которая в это время раскладывала корзинку с провизией, засмеялась.

– Эта женщина думает то, что говорит, – сказала она, – вы да я, вы да я, Пан...

Она подошла к нему и стала около него на колени.

– Мне кажется иногда, точно между нами и прочим миром упал занавес и мы стоим по одну сторону от него в полном, восхитительном одиночестве.

– Вы думаете, что влюбленные имеют на это право? – Он немного побледнел под загаром и остановился в нерешительности. – Считаете ли вы, что они имеют право устанавливать для самих себя законы, что они, как вы говорите, могут отгородиться от прочего мира, имеют право жить только для себя?

– Да, мне кажется, я имела в виду именно это.

Она посмотрела на него не без смущения. Ее удивляло, что Пан придает такое значение ее словам, которые были не чем иным, как обычной любовной болтовней.

Она приготовила чай, и они весело закусили.

– Пора ехать, – сказала она. – Пан, дорогой, право, нам нужно ехать!

– Почему? – спросил он.

– Как же, ангел мой, уже семь часов, а до Гарстпойнта еще далеко. И если мы едем, чтобы повидать наших, то невежливо приехать, когда все уже будут в постели.

– А что, если мы совсем не поедem? – лениво сказал он, не глядя на нее.

– Вы хотите ехать обратно? – с сомнением в голосе спросила Дора.

– Нет, поедem дальше – куда-нибудь... Проведем вместе вечер – вы да я – чудный вечер, о котором мы всегда будем помнить, когда жизнь разлучит нас. Мы могли бы сказать... – он стал искать спички и делал вид, что не может их найти. – Ах, вот они... Мы могли бы сказать Ион, что у нас случилась поломка... Конечно, если вы не хотите, то другое дело, – закончил он совершенно бесстрастным голосом.

– Я... я... это было бы чудесно, – сказала Дора, идя навстречу его желанию. – Дорогой мой, я бы очень хотела, но... но... не будет ли это иметь вид... не покажется ли это...

– Да, возможно, что и так. Это была дикая мысль. Мне казалось...

Он встал и выпрямился.

– Давайте собираться. Я возьму корзину.

Вся радость, вся «близость» пропала. Дора чувствовала себя виноватой, наказанной. Ей было стыдно.

Она подошла к нему и положила руки ему на плечи.

– О дорогой, если вам хочется... если в самом деле это ничего и вы думаете, что Ион не рассердится...

– Ей незачем знать, Прекрасная, – сказал Пан, повеселев, с блестящими глазами. – Дора, вы здесь сами говорили... Слушайте, радость моя: мы заедem по дороге в гостиницу, пообедаем, затем я уйду, переночую где-нибудь в другом месте и вернусь завтра утром к завтраку. Если Ион спросит, мы расскажем ей, а если нет – и есть тысяча шансов против одного, что она не

спросит и даже не поинтересуется, – мы молча сождем ей, не скажем ничего. И мы проведем дивный вечер вдвоем. Красота моя, вы так щедры, вы самая щедрая женщина в мире.

Но, когда они опять очутились в автомобиле, спеша найти «чудное местечко», о котором слышал Пан, она смутно почувствовала, что этот проект не совсем нравится ей.

– Вы в самом деле думаете, что это ничего, что Ион не поймет этого дурно? – отважилась она спросить, боясь опять увидеть на лице Пана недовольное выражение.

Но он весело посмотрел на нее и нежно сказал:

– Напуганное дитя. Ну хорошо, моя дорогая, мы поедем, а потом дадим Ион самый правильный отчет о нашей безгрешной поездке. Согласны?

– О дорогой, – сказала Дора, целуя его рукав.

– В таком случае, смейтесь своими жасминовыми глазами. Мне кажется, вы меня боитесь.

– Нисколько! – воскликнула Дора. – О Пан, взгляните на закат.

Пан замедлил ход машины, и они стали любоваться небом, которое казалось лугом, усеянным цветами: сиренью, мимозами и алыми пионами; высоко над ними, как маленький цветочек, заблестела звезда.

– Нам надо спешить, – сказал Пан, – уже без четверти восемь. Вот как раз гостиница. Я зайду попросить воды, а то радиатор стал как будто нагреваться.

Он вошел в гостиницу, и несколько минут спустя старик вынес оттуда кружку воды, полил из нее никелевую часть и принял с благодарностью шиллинг.

– Ну, теперь полным ходом, – сказал Пан; в его голосе слышалось волнение.

Он одной рукой прижал к себе Дору и со смехом заглянул ей в глаза:

– Все зори и солнечные закаты не могут быть прекраснее вас, – сказал он.

Автомобиль бодро взлетел на холм, но затем зашипел, минуту поколебался и стал.

– Ах, черт! – воскликнул Пан, поднимая крышку. – Не осталось почти ни капли бензина; нам надо вернуться в гостиницу. Туда он доедет.

Обратно вниз они доехали беспрепятственно. Опять появился тот же старик.

– Я знал, что вы вернетесь, – сказал он, – потому что очень пахло бензином, а потом на дороге осталась лужа; и как это она уже высохла? Чудеса!

Он не знал, что бензин улетучивается. Конечно, в гостинице бензина не оказалось; ближайшая деревня была за несколько миль, да и там, по всей вероятности, его тоже не было.

Глаза Пана улыбнулись; он сказал Доре:

– Судьба решила, дорогая.

Теперь бесполезно было спорить, жаловаться или выражать беспокойство.

– Судьба решила... – как эхо повторила Дора.

– Добрая судьба! – улыбнулся Пан.

Он вышел повидать хозяина, заказать комнаты и обед и все устроить.

Дора села на скамью под изгородью из высоких мальв и задумалась.

Условности и строгие правила приличий никогда не интересовали ее по той простой причине, что она не обращала внимания на раз установившиеся подробности и мелочи жизни; условности не стесняли ее потому, что она, сама этого не замечая, всегда их соблюдала.

Конечно, любовь ее к Пану была чем-то отличным от того, как было принято любить в ее кругу; и, конечно, всякий другой – она вполне честно это допускала – мог видеть в их любви тоже нечто особенное.

Вместе с тем всякий, кто стал бы судить ее отношение к Пану, должен был принять во внимание, что Пан был членом их семьи...

А в общем, что за преступление остановиться в гостинице, если случилась поломка... Просто это было неприятно.

Ее мысли были прерваны появлением Пана. Он подошел, сел на скамью рядом с ней и сказал тем голосом, которым он так умел затрагивать ее сердце:

– Пусть это будет единственным вечером нашей жизни. Дора, дорогая, будьте счастливы.

Он крепко обнял ее, как бы приковывая ее своей рукой к нагретой солнцем скамье.

– Дора, посмотрите на меня.

И в этом взгляде Дора забыла все условности, все неприятности, которые ее волновали. Пыльное шоссе было пусто; ни вблизи, ни вдалеке на нем никого не было видно. Пан поцеловал ее прямо в губы, а затем, немного отодвинувшись от нее, лукаво улыбнулся.

– Ваша комната, дитя мое, заплесневевшая и ужасная, – весело сказал он, – тексты из Писания по обе стороны от кровати, а на туалетном столе канифасовая оборка.

– А вы куда пойдете? – спросила Дора.

– Одному небу известно, – засмеялся он.

Маленькая черноволосая женщина проводила Дору наверх в ее комнату, которую Пан так живо описал. Он не ошибся: комната обладала всеми перечисленными им достоинствами. В то время как они обедали в саду, мимо проехал автомобиль. Дора услышала его.

– Мы можем занять у них бензина, – сказала она.

– Займем у следующего, – обещал Пан.

Но следующий проехал прежде, чем они успели встать из-за стола.

Пробило десять часов. Они заказали кофе, но он оказался так плох, что его нельзя было пить.

Пан вошел в гостиницу еще раз распорядиться относительно бензина, который должен был доставить работник.

– Это малый с фермы, – пояснил хозяин. – Он живет около Фрэшема. Он будет здесь к пяти часам утра и привезет столько, что хватит на двоих.

Пан поблагодарил.

– Не запирайте двери, мы скоро придем, – сказал он. – На воздухе так прохладно.

Они прошли маленький садик, окруженный живой изгородью из шиповника и табачных цветов; дальше находился фруктовый сад.

– Едем! – весело смеясь, сказал Пан. Автомобиль стоял под открытым навесом, отделявшим цветник от фруктового сада.

– Подождите, – сказал Пан.

Он достал из автомобиля ковер, и они прошли в фруктовый сад. Воздух был пропитан острым запахом плодов, лунный свет сквозь листву усыпал высокую траву тысячами бледных жемчужин.

Пан разостлал ковер и, склонившись к лицу Доры, почти касаясь ее губ, спросил:

– Ну, скажите, не довольны вы, что нам пришлось остаться?

Она вся затрепетала от его близости.

– О да, о да, – сказала она. Они легли на ковер, и Дора положила голову на протянутую руку Пана так, что лица их почти касались.

– Вот это жизнь, вот это любовь, – прошептала она.

– Это безумие, – засмеялся Пан, целуя ее глаза, волосы, шею. – Ах, Дора, Дора!

В его голове мелькали мысли, одна безумнее другой. Так вот она, эта минута, о которой он и мечтать не смел. Неужели он ею не воспользуется? И к тому же ведь Дора его любит; не он один пылает страстью. Разве нельзя уехать за границу? Ведь это его последняя любовь, страсть всей его жизни. А живешь только раз, и жизнь проходит, проходит...

– О Пан, Пан! Ведь это рай лежать здесь с вами и чувствовать вас около себя, целовать и не бояться, что кто-нибудь придет, помешает. О да, я рада, что мы приехали сюда; я никогда вас не



любила так, как люблю в эту ночь.

– Так это правда? – спросил он, отодвинув назад свою голову и смотря ей в глаза.

– Зачем спрашивать, разве вы не чувствуете?

– Дайте мне это почувствовать, – сказал Пан, кладя руку ей на сердце, и ей показалось, точно этой рукой он отнял у нее сердце и взял его себе.

Он вытащил шпильки из ее волос, они упали и окутали их лица теплым, пахучим покрывалом.

– Ты моя, мы принадлежим друг другу, – тихо сказал он.

– О Пан, никогда не покидайте, не отталкивайте меня!

– Я буду ничто, если потеряю вас, – мрачно сказал он, – но вы...

– О, как вы можете так говорить? – воскликнула Дора с дрожью оскорбления в голосе. – Как можете вы сомневаться во мне? Вся жизнь моя в ваших руках, делайте с ней, что хотите. Я никогда не полюблю больше так, как люблю вас. Я никогда не могла бы полюбить другого. Все, что я перечувствовала и выстрадала, было через вас; каждый час, каждую минуту были только вы, вы один; как же вы можете сомневаться во мне?

– Это потому, что я так боюсь, – сказал он хриплым голосом и склонил голову так, что она коснулась ее колен.

Она нежно посмотрела на него, и в этом взгляде была и страсть, и жалость к нему. Она подняла его голову, и губы их коснулись. Ее любовь, ее полная покорность зажгли в нем такой порыв страсти, что он схватил ее лицо и прижал свои губы к ее губам в таком неистовом, в таком безумном поцелуе, что она даже вскрикнула. Но он заглушил этот крик новым поцелуем, прильнул к ее губам и долго не отрывался от них, как будто хотел выпить из нее ее кровь, биение ее сердца, все ее существо.

– Да, это любовь, – сказала наконец Дора. – Дотроньтесь до моего сердца.

Пан провел дрожащей рукой по своим глазам. Ему казалось, что голос ее долетел откуда-то издалика. Он положил руку ей на сердце: оно билось, как мятежное пламя.

– Дора, – прошептал он.

– Мне кажется, я рождена, чтобы любить вас, только для этого. О, если бы я могла умереть сейчас, такой безгранично счастливой. Пан, помните ли вы стихотворение «В фруктовом саду», которое мы с вами читали в библиотеке в Гарстпойнте? Вот бы теперь его прочесть! Тогда я ничего не знала. Теперь я понимаю, что это значит: «Жизнь через край бурлит, грозя умчаться». Желать того, кого мы любим; любить, даже если страдаешь. О Пан, неужели наступит день и мы проснемся и увидим, что этот час прошел? Неужели он никогда не вернется, и мы никогда не переживем его вновь? Один только час, он миновал – и жизнь, поглотив его, потекла дальше...

Пан обнял ее, и они сели, опершись о дерево, щека к щеке.

– Да, я помню, – нежно сказал он. – Я, как сейчас, вижу библиотеку, огонь в камине, вас, белую и золотую, ваши блестящие глаза, как жасминовые листья, и отблески в них от огня, словно маленькие звездочки. Нам и тогда казалось, что мы любили, но теперь...

Она обвила руками его шею, взъерошила его густые короткие волосы.

– Кто помнит? – сказал он.

– Мы в фруктовом саду, – почти прошептала Дора.

Дай мне вздохнуть. Дай оглянуться, милый.

Роса поит меня бодрящей силой.

Луна посеребрила яблонь синь

И каждый лист в цветок преобразила.

О Боже мой, зачем так скоро день!

Она вздрогнула от красоты произносимых слов, прижалась к Пану и продолжала:

Нас нежно приняла трава густая.  
В твоих горячих поцелуях тая,  
Я вся к тебе прильнула, словно тень,  
Что пред закатом к лугу припадает.  
О Боже мой, зачем так скоро день!

– Теперь рано светает, – сказал Пан. – Месяц побледнел...  
– Я не хочу, чтобы эта ночь умерла; я хочу, чтобы ты любил меня еще.

Люби меня, люби еще. Бледнеет ночь,  
уж ветер стих.  
Ты волосы мои возьми и поцелуй меня сквозь  
них.

Она, полушутя, нервно смеясь, набросила на них обоих завесу своих волос.

– Люби меня, целуй меня, клянись, что вечно...

– Вечно. Слушай, Дора! Эта ночь наша, отдай ее мне вполне, сделай ее незабвенной для нас обоих. Дай мне целовать тебя до зари. Клянусь тебе всем, что есть святого на свете, ты никогда об этом не пожалеешь. Клянусь, я буду добр к тебе, Дора!

Она немного отстранилась от него; стыдливый страх боролся в ней с обожанием; она на минуту почувствовала себя смущенной.

Где-то вспорхнула птичка. Пан беспокойно задвигался; при лунном свете его лицо казалось бледным, глаза блестели.

Она прошептала его имя, и он прижал ее к себе.

– Дора... наша ночь... скоро заря...

Они пошли, обнявшись, по мягкой, сочной траве. Впереди них выросла и скрылась тень. Дора слегка вскрикнула и услышала успокаивающие слова Пана:

– Ничего, дорогая!

Он прошел вперед, раздался стук копыт, блеснули испуганные глаза; жеребец бросился в сторону, Пан вскрикнул и упал.

Дора опустилась перед ним на колени:

– Дорогой, ты ушиблен? Он не отвечал.

Она позвала опять, обвила рукой его шею и приподняла его. Глаза его были закрыты; на виске виднелось темное пятно; оттуда тонкой струйкой сочилась кровь.

– Пан!.. Пан!.. – шептала Дора.

Ее охватил ужас; она все стояла на коленях, обняв Пана, повторяя его имя. И вдруг она поняла. Он был мертв.

– Мне очень жаль, Тони, – сказала Ион. – Я страшно огорчена, но ведь обо всем этом я не имела понятия.

Рексфорд заехал в Лондон по делам своего имения и, конечно, прежде всего отправился в Берклей-сквер. До Гарстпойнта дошли слухи об успехах Доры. Рексфорд не распространялся о них, но в душе был очень доволен. Зато Джи говорила очень много и доставляла ему этим еще больше удовольствия.

Ион искренне ему обрадовалась. Она могла подсмеиваться над ним и над Джи и критиковать их, она могла также быть довольно неразборчивой хозяйкой, но вместе с тем у нее была неоспоримая привязанность к своим родным.

Тони тотчас выразил желание увидеть Дору, на что Ион сообщила ему, что он с ней разъехался, так как Пан в эту минуту везет ее в Гарстпойнт, где они намерены провести ночь.

Тони изменился в лице. Он весь запылал яростью и, с трудом сдерживая себя, спросил хриплым голосом:

– В Гарстпойнт? Черт, какая наглость! Это похоже на него. Давно ли они уехали? Сколько времени он пробыл здесь?

Когда он рассказал ей все, Ион с молниеносной быстротой сообразила, насколько основательны опасения Тони. Она почувствовала себя виноватой в крайней неосторожности.

– Но ведь Дора знает, что он женат? – сказала она.

– Возможно, что да, но я не уверен. Когда я удалил его отсюда, он был занят своим разводом, и мы никогда больше об этом не говорили. Но это и не имеет значения.

– Ты прав, – просто ответила Ион и добавила: – Что ты намерен предпринять?

– Я тотчас поеду обратно, – мрачно сказал Тони.

Он рассеянно поцеловал ее и вышел.

Ион подошла к окну. Она была очень расстроена. Зачем Тони не предупредил ее? Но тотчас другая мысль пришла ей в голову: зачем бы он стал это делать? Ведь если бы нечто подобное случилось с Николаем, она никому не стала бы говорить. Она негодовала на Пана и была очень сердита на Дору. Когда ее мысль остановилась на молодой девушке, она невольно подумала: «Если бы она была одной из нас, если бы она действительно принадлежала к нашему роду, ничего подобного не могло бы с ней случиться». Хотя в душе она и признавала, что это было неверно, но она была слишком огорчена за Тони, ее «семейное чувство» было оскорблено, и это мешало ей быть вполне справедливой.

На улице автомобили сновали взад и вперед, где-то наигрывала шарманка. У Ион была масса дел – покупок, визитов; но она все стояла у окна.

Она чувствовала себя встревоженной, выбитой из колеи, и в конце концов вся ее досада сосредоточилась на Доре, которой она не могла простить ее скрытности.

Наконец, с нахмуренным лицом, она прошла в свою комнату и, позвонив горничной, стала одеваться.

Весь день, несмотря на приятную встречу с человеком, который много лет ее обожал, несмотря на множество обычных мелких впечатлений, чувство беспокойства не покидало ее.

Когда она возвратилась переодеться к обеду, дворецкий доложил ей, что лорд Рексфорд спрашивал по телефону, в котором часу мистер Гревиль с мисс Дорой выехали из Лондона.

– Я сказал лорду, – добавил он.

Ион почувствовала, как сжалось ее сердце; но волнение ее достигло высшего предела, когда по возвращении ее домой в час ночи Тони опять телефонировал, что ни Пан, ни Дора не

приезжали.

– Тони, подожди немного, не разъединяй телефона, – попросила Ион; ей хотелось сказать ему что-нибудь, посоветовать. – Как ты думаешь, уж не случилось ли с ними какого-нибудь несчастья? – наконец проговорила она.

В общем, им нечего было сказать друг другу. Ион провела бессонную ночь и в семь утра уже опять звонила в Гарстпойнт.

Известий не было.

Страшное раздражение против Пана и Доры поднималось в ней; она негодовала, но как все подобные ей женщины никому не высказывала своего настроения. В восемь часов вновь позвонил телефон; незнакомый мужской голос спросил:

– Это миссис Лассельс?

– Да, я – миссис Лассельс.

– С вами говорит доктор Холькот. Я звоню из своего дома около Мур-Грина, деревни между Годальмингом и Петворсом. Если можете, приезжайте немедленно. Ваш брат, мистер Гревиль, серьезно заболел.

– Сейчас выеду. Кто с ним?

Последовала короткая пауза, потом голос ответил:

– Одна леди.

Телефон разъединили. Ион сказала мужу, чтобы он вызвал Тони, пока она будет одеваться. Соединение дали очень быстро. Голос Тони ответил:

– Дора здесь. Пан прошлой ночью убит копытом лошади.

– Я еду, – машинально ответила Ион.

Ничто не могло предотвратить следствия. Гостиница «Барлей-Моу» и маленькая деревушка стали знамениты. Миссис Ло, жена хозяина гостиницы, неумоимо рассказывала каждому все, что произошло. Портреты Доры фигурировали во всех грошовых газетах, и там же печатались подробности всего дела, потом появились опровержения и вновь заметки, пока не погас интерес ко всей этой истории.

Все это время самолюбие Ион жестоко страдало, но, чтобы никто этого не замечал, она продолжала бывать везде, где только могла, до окончания траура по Пану, наружно храня спокойствие. В городе она оставалась до того срока, когда она обычно уезжала. Конец июня Доре тоже пришлось пробыть на Берклей-сквер для устройства каких-то дел.

В Гарстпойнте она проводила свои дни, как в тюрьме. Тони почти не разговаривал; Джи хворала; даже прислуга как-то косо посматривала на нее.

В общем, никто не знал, что произошло в ту ночь в гостинице, но, как обычно бывает в таких случаях, люди верили тому, во что им хотелось верить, то есть в худшее.

Ион держала себя с Дорой насколько могла любезно, но перенесенные ею волнения отозвались и на ней. Ее прежняя веселость сменилась какой-то горечью, и Дора чувствовала, что она никогда не простит ей этого «семейного скандала». Это был один из трех грехов, которых не прощают. В конце концов, Дора перестала интересоваться тем, что думает о ней Ион или кто бы то ни было. Как это часто случается после перенесенных потрясений, она переживала период полной безучастности ко всему окружающему.

На душу ее как бы легло темное покрывало, и во всем теле она ощущала смертельную усталость.

Иногда по ночам она просыпалась, в памяти ее воскресало все пережитое, и она опять испытывала острое горе, которое в первую минуту чуть не лишило ее рассудка. Она видела перед собой бледное лицо Пана, такое прекрасное в гробу, и ей казалось, что она опять, как тогда, глядит на него долгим, прощальным, последним взглядом.

Ион настояла на том, чтобы она вновь занялась музыкой.

– Ведь надо же что-нибудь делать!

Кавини, хитрый, как все добившиеся некоторой известности итальянские или французские буржуа, заинтересовался Дорой; ее происхождение интриговало его.

Как-то во время урока он стал подтрунивать над ее небрежностью.

– Не все ли равно? – мрачно сказала Дора. – Может ли кого-нибудь интересовать, что я делаю или что произойдет со мной хотя бы через сто лет?

Ничто теперь ее не интересовало, и никому она не была нужна. Тони почти не разговаривал с ней; к Ион нельзя было подойти. Грех Доры был непростителен.

Когда она взглянула на Кавини, внезапная мысль озарила ее.

В течение долгих недель она искала какого-нибудь исхода, и вдруг ей показалось, что она нашла его.

Кавини просматривал какие-то ноты. Услышав ее слова, он повернул голову и снисходительно усмехнулся.

– Кто говорит о том, что будет через сто лет? – сказал он. – Я говорю о нынешнем дне и о том, что вы пренебрегаете вашим голосом. О женщины, никто не имел бы ничего против вашей сентиментальности, если бы она не отзывалась так на вас самих! Что-то случилось с вами, и вот вы уже отказываетесь подумать о самом прекрасном даровании, которым только может быть наделена женщина. Боже, до чего это безрассудно! Если не удалось одно, почему не взяться за

другое? Ничто не дает такого удовлетворения в жизни, как искусство. А вы – у вас такой голос, который приведет вас, куда вы только захотите!

Дора отрывисто рассмеялась.

– Ну, так ведите его... и меня тоже, – ровным голосом сказала она, но два ярких пятна загорелись на ее щеках.

Кавини сердито сказал:

– Я не понимаю.

– Ну, конечно. Большинство людей, когда у них требуют подтверждения их слов на деле, – берут их обратно.

– Какие слова? – воскликнул Кавини. Дора поднялась и стала около рояля.

– Вы только что сказали, что, если не удалось одно, надо взяться за другое и что нас ничто не удовлетворяет так, как искусство. Вы верите в мой голос. Ну, так возьмите его и меня и подготовьте нас обоих для сцены.

Глаза Кавини на миг блеснули, и он сказал:

– Вы все шутите, сеньорина. А как же ваши родственники?

– Я сама по себе, – медленно сказала Дора, и в первый раз в жизни эта истина стала для нее очевидной.

Внезапно горькие слезы наполнили ее глаза. Смотря сквозь них на Кавини, она спросила:

– Хотите вы взяться за это?

В голосе ее звучал вызов.

Кавини развел руками, как бы прося пощады. Его практичный ум уже взвешивал возможные убытки и барыши от этого предприятия.

Она стояла перед ним, и луч солнца нежно касался ее волос. Ее лицо, на котором лежал отпечаток грусти, казалось одухотворенным. Кавини не выдержал; восхищение настоящего артиста заговорило в нем сильнее всех прочих соображений. Наконец-то будет молодая Мими, стройная, увлекательная, страстная... и Луиза, и Кармен, и героиня вагнеровских произведений...

Он схватил обе ее руки.

– Да, и да, и да! – воскликнул он с влажными блестящими глазами, уже видя в воображении ее грядущие триумфы.

– В таком случае, – спокойно сказала Дора, – я желаю тотчас покинуть Англию.

– Но, милый Тони, ты не можешь помешать ей, – сказала Ион.

Она сидела рядом с ним на краю кушетки, на которой он лежал, поправляясь после болезни. По требованию врача он должен был низко класть голову и ворочался, ища более удобного положения.

Его громоздкая фигура горой вздымалась под складками пестрого китайского халата.

– Не принимай это слишком близко к сердцу. Тони ничего не ответил. Между ним и Дорой произошел бурный разговор; он сделал неудачную попытку отговорить ее от намерения и с тех пор упорно молчал. Дора продолжала бывать у него, но он ее не замечал. Оба были страшно несчастны, но оба не хотели отступить от своего решения, а Ион, сама страшно раздраженная, служила им как бы буфером.

Все планы Доры были уже готовы к исполнению; через неделю она должна была выехать в Париж. Тони пока об этом ничего еще не знал и продолжал упрямо цепляться за мысль, что она ничего не в состоянии будет сделать, если он оставит ее без денег.

Он держал этот ресурс в секрете, предполагая воспользоваться им лишь как последним оружием.

Одетая в полотняное платье для прогулок, Дора вошла вечером к Тони в то время, как Ион сидела в его комнате. Обе женщины казались утомленными. Дора волновалась, сознавая, что она должна сообщить Тони о своем отъезде; Ион была утомлена событиями, которые требовали от нее необычайного для нее терпения.

Она зажгла папиросу и протянула свой портсигар Доре. Через открытое окно слабо долетел гул с Пикадилли; деревья в сквере были покрыты слоем серой пыли. День был душный; воздух был накален летней жарой.

Темные глаза Ион вопросительно и даже сочувственно остановились на Доре. Лично она считала, что ее намерения были вовсе не так безрассудны. Доре невозможно было при создавшихся условиях продолжать прежнюю жизнь в Гарстпойнте. По тем же основаниям ей нельзя было думать и о замужестве. Должна же была она искать способ, чтобы забыть пережитое и так или иначе устроить свою жизнь!

Тихим и не вполне твердым голосом Дора сказала:

– Дорогой, я уезжаю завтра с Кавини в Париж. Тони взглянул на нее, потом произнес хриплым голосом:

– В самом деле?

– Да, и... и, Тони, дорогой, неужели вы не хотите понять и отпустить меня так, чтобы я не чувствовала... – она запнулась и остановилась.

Отчеканивая каждое слово, Тони проговорил:

– Если ты уедешь, можешь больше не возвращаться. Запомни это. Если ты станешь певицей, ты больше мне не приемная дочь. Вот все, что я имею сказать.

В то время как он говорил, Ион как-то бессознательно стала у его изголовья, и они оба в эту минуту показались Доре врагами.

– Тони, – прошептала она.

Ему показалось, что она колеблется. Он не знал, что не все слезы происходят от слабости, что бывают и такие, источником которых является смелый порыв. Он попробовал пустить в ход последний довод.

– Если ты уедешь, ты уедешь без гроша, – сказал он, – и между нами все будет кончено.

Дора повернулась, как слепая, нащупывая дверь. С трудом передвигая ноги, она вышла и

направилась в свою комнату.

– Она образумится, – отрывисто сказал Тони, обращаясь к Ион.



Рекс переодевался после завтрака, готовясь идти на реку, когда к нему забрел Николай с письмом в руках.

– Вот так история! – сказал он. Рекс взглянул на него.

– Письмо от матери, прочти!

Рекс стал читать письмо; он слышал, как Николай свистел сквозь зубы и передвигал разные вещи в комнате, отыскивая свои любимые папиросы.

Рекс сложил письмо и спокойно сказал:

– Они здесь, в этой фарфоровой корзине. Послушай, Николай, я поеду сегодня в город.

– Зачем? – спросил Николай, жуя кекс.

– Так, мне надо, – ответил Рекс и стал поспешно переодеваться заново в городское платье.

На Берклей-сквер он попал все же лишь после восьми часов и спросил Дору.

– Мисс Гревиль, кажется, в саду, – ответил дворецкий. – Она недавно спрашивала ключ.

– Я пойду туда, – сказал Рекс.

Он издали увидел белевшее в темноте платье. Приблизившись, он окликнул гулявшую:

– Дора!

Сердце его бешено запрыгало, когда он услышал радость в ее голосе:

– Рекс, ты?

– Я.

Он подошел и сел на зеленую скамью около нее. Ему хотелось пожать ее руку, но его рука дрожала, и сам он внутренне весь трепетал. Всю дорогу он готовился к этой встрече, репетируя свою роль в предстоявшей сцене. Он собирался сначала выслушать ее, поговорить насколько возможно спокойно обо всем и потом уже сообщить ей причину своего приезда.

Когда он узнал о смерти Пана, он написал ей. Потом писал еще несколько раз, но ответов не получал. Он не мог приехать, так как отец запретил ему выезжать из Оксфорда. Дора ни одного его письма не получила. Таким образом, он совершенно не знал, что произошло между ней и Паном, и не мог угадать, какое чувство их соединяло. Он знал только, что при воспоминании о Пани он по-прежнему испытывал к нему ненависть.

Пан умер, но своей смертью он повредил Доре, и косвенно это и привело ее к ее решению. Крепко сжав руки и немного подавшись вперед, он спросил ее:

– Ты расскажешь мне?

– Мне нечего рассказывать, кроме того, что завтра я уезжаю в Париж с Кавини.

– Ты уезжаешь? – машинально переспросил Рекс. – Так скоро?

– Да, я думала, что ты слышал об этом и приехал проститься. Тони больше не желает меня знать.

Она повернулась к нему, и он заметил в ее глазах слезы.

Рекс потихоньку протянул руку и незаметно положил ее к ней на платье; это прикосновение немного успокоило его волнение.

Слеза упала ему на руку.

И она как будто послужила ему ключом, открывшим дверь, за которой была замкнута вся его так долго сдерживаемая страсть. Слова помимо его воли рекой потекли с его языка.

Он слышал их и сам почти ужасался, с какой силой он защищает свое дело, но остановиться уже не мог. Только когда он услышал, как Дора несколько раз воскликнула: «Рекс, о Рекс!» – и когда слова эти, наконец, достигли его затуманенного страстью сознания, он запнулся и замолчал.

Вокруг них была тишина. До сада почти не долетал городской шум, и этот покой казался Рексу как бы насмешкой над его чувством.

Он беспокойно задвигался, и Дора встала.

Он также поднялся:

– Не уходи, подожди. Не оставляй меня так...

– Но ведь теперь все испорчено. Как ты не понимаешь? О, зачем, зачем ты мне все это сказал?!

Он ответил ей едва слышно:

– Дора, свет мой, разве ты не понимаешь, что я не мог удержаться? Я не хотел ничего говорить тебе. Я приехал нарочно, чтобы тебя утешить и успокоить, но... ты заплакала, я увидел в сумерках твое лицо... И вокруг тебя был аромат, который проник в мой мозг. И ты была сама нежность и грусть...

– Перестань, пожалуйста, перестань, – умоляюще произнесла Дора.

Она не хотела быть жестокой, но вся эта сцена с Рексом была ужасна; ей как-то не верилось, что это правда. Любовь такая, изливающаяся в безумных словах величайшего обожания, совершенно забывающая о себе, и в ком же – в Рексе, в этом мальчике, над которым она смеялась, к которому она была с детства привязана! Ей было жаль его, и в то же время она сердилась. Она и так уже чуть не падала под давившей ее тяжестью, а он возложил на нее еще лишнее бремя.

Он хотел продолжать свою страстную речь.

– О, не надо, не надо! – взмолилась Дора. Он горько рассмеялся; эти простые слова были слишком жестоки, слишком оскорбительны для его любви.

– Ты не можешь так меня покинуть, не можешь отвергнуть мою любовь, как будто она так жалка, что от нее можно отказаться, как от блюда, которое тебе предлагает слуга. Для тебя она, может быть, ничего не значит, но ведь в ней моя жизнь, вся моя жизнь, ты слышишь?

– Тебе только теперь так кажется, – сказала Дора с горечью в голосе; она, в свою очередь, была оскорблена его настойчивостью.

Она сделала над собой усилие, чтобы вновь быть ласковой и постараться помочь ему.

– Рекс, дорогой, – ласково сказала она, – пойми, что я... я покончила с любовью. Я не могу говорить о ней ни с кем, даже с тобой.

Он упрямо взглянул на нее; в эту минуту дело ведь шло только о его любви.

– Ты никогда не знала любви, ты никогда ее не встречала, – воскликнул он, и в его тихом голосе звучали и гнев, и мольба, и отчаяние. – Мне все равно, что ты говоришь и что ты чувствуешь. Ты должна выслушать меня. Я знаю, что это истина, я знаю, что я прав. Моя любовь – настоящая, любовь навсегда. Ты готова назвать ее «зеленой» в насмешку за ее юность – ту юность, которая придает ей половину ее прелести. Только молодая любовь и любит без расчета, не боясь страданий; другая любовь, более поздняя, так любить не может. Поздняя любовь сравнивает и рассчитывает, и в ней нет того божественного безумия, той страстности. Она – просто душевное переживание, которое само себя боится и не уверено в том, насколько его хватит. Так, как я люблю, я вновь не люблю никогда; любовь, которая может прийти после такой любви, будет только наполовину реальна. Все, что есть хорошего и искреннего во мне, вся моя скромность и гордость трепещут в моей любви к тебе. А ты отворачиваешься от нее потому, что она молода! Впрочем, – тут в его голосе зазвучала сдерживаемая горечь, – это недостаток, который с годами пройдет.

– О, зачем ты говоришь так, Рекс? Не будь так требователен, так жесток, Рекс. Я так несчастна...

У Рекса слезы подступили к горлу; он сам едва не разрыдался.

Заикаясь, он прошептал:

– О дорогая моя, свет мой, не надо плакать. Я не могу перенести, чтобы ты была несчастна.

Он нежно обнял ее, едва касаясь ее рукой, и она почувствовала себя как бы под его защитой. Он заметил, что она дрожит.

– Я несчастна, – повторила Дора, как огорченный ребенок.

И он, как ребенок, утешал ее и расспрашивал о ее планах.

Но он не отнимал своей руки и, по мере того как говорил, понемногу крепче прижимал ее к себе. Лицо его было совсем близко к ее лицу, и до него опять долетел этот аромат, о котором он говорил и от которого трепетало все его существо.

– Больше ничего не остается, Рекс, – с отчаянием сказала она. – Я не могу возвратиться в Гарстпойнт, а Ион, конечно, не захочет, чтобы я жила у нее.

– Ты можешь выйти за меня замуж, – сказал он с напускным спокойствием, – и стать свободной. Я говорю серьезно, – решительно добавил он. – Даю тебе слово. Я сегодня и приехал для того, чтобы сказать тебе это; это и было настоящей причиной моего приезда. Дора, ты согласна?

– Нет и нет! – ответила она, отстраняясь от него. – Неужто ты думаешь, неужто ты веришь, что можно так легко забыть?

Он постарался вновь вернуть ее былое доверие, но теперь это было невозможно.

Они молча дошли до дома и простились. Рекс прижал ее руку к своему сердцу.

– Вечно, – сказал он, – как сейчас. Ты понимаешь? И я никогда от тебя не откажусь. До свидания!

Если Дора жаждала смены видов, обстановки, умственной атмосферы, она достигала ее.

Она передала Кавини об отказе Тони поддержать ее на ее новом пути и помочь ей выйти на новое поприще деятельности. Хитрый итальянец не был удивлен; он предвидел это.

Узнав, что предположения его оправдались, он проявил все свои коммерческие способности, столь свойственные итальянцам, и полную неразборчивость в выборе жилища.

Когда Дора станет знаменитостью, о, тогда другое дело! Но теперь, пока этого еще нет, зачем тратить на отели, когда есть просто пансионы?

Он выбрал пансион на одной из окраинных улиц Парижа и направился туда, сопровождаемый своей женой и Дорой, которая должна была тут проходить свою школу.

Сказать, что Дора разочаровалась, было бы очень слабо. Она была подавлена и возмущена всей этой обстановкой и втайне чувствовала к ней отвращение.

Не сознаваясь в этом самой себе, она в душе мечтала о славе и вдруг вместо этого нашла грязь, плохую комнату, грубую, жирную еду, непрерывную, бесконечную работу и столь же бесконечную болтовню синьоры Кавини, которая не была очень очарована своим супругом и пребывала в постоянном страхе, что Дора ничего не достигнет.

С другой стороны, отношение к ней самого Кавини изменилось; теперь она уже не была для него балованной ученицей, которой все любят, а инструментом, на котором он намеревался играть на своем пути к славе.

– Ах вы, да шевелите же мозгами! – шумел он. – Что значит красота, голос и даже такая школа, как моя, если вы будете петь погребальную песнь, как припев к хору в водевиле? Открывайте рот, открывайте рот, ведь вы не суп кушаете.

На него тоже находили минуты сомнений, и он вымещал их на Доре. Никто ей не писал.

Случайно на улице Мира она встретила Шропшайра.

Когда он увидел ее, лицо его просияло; он тотчас раскланялся и подошел к ней.

– Какое счастье! Пойдемте завтракать.

Они отправились в «Cafe Parisien», и Дора впервые после отъезда из Лондона хорошо и в чистой обстановке позавтракала.

В этот день Кавини был особенно требователен. День был холодный, и жизнь казалась невероятно мрачной; Дора смотрела на Давида более благосклонными глазами, чем раньше.

Он напомнил ей Рекса; они принадлежали к одному и тому же типу – оба были высокие, стройные, с изящными манерами и носили на себе тот особый отпечаток, который придает хорошее воспитание.

Она раньше считала Давида глупым – про Рекса этого, конечно, никак нельзя было сказать. Но в этот день разговор его доставлял ей большое удовольствие своим контрастом с бесконечными жалобами и скучной болтовней Кавини. Он говорил о том, что ей было так хорошо знакомо. Слушая его, она с некоторой стыдливостью и любопытством думала, будет ли он вновь говорить ей о своей любви.

Но ничего такого не последовало, а вместо этого, наняв таксомотор и прощаясь с ней, он сказал:

– Я надеюсь, что, когда наступит великий вечер, я буду допущен за кулисы.

Дора в ответ рассмеялась. Она ясно почувствовала, что в глазах Шропшайра она стала не той, чем была раньше, и что у него больше нет желания на ней жениться.

На Рождество Рекс прислал ящик пурпурных роз и просил разрешения приехать в Париж, на что она телеграфировала «нет».

Это были самые скучные полгода ее жизни, и она была рада, когда Кавини объявил, что на следующей неделе они выезжают в Италию, к его матери. Его мать и жена всю жизнь были врагами, и синьора Кавини выразила против этого плана решительный протест, который бурей пронесся по пансиону.

Расчеты Кавини были очень тонки. Импрессарио Аверадо как раз в это время поправлялся после перенесенной болезни и жил в Фьезоле, на своей вилле, которая была расположена на склоне холма, как раз над жилищем родителей Кавини.

С Кавини случалось, что он обращался в азартного игрока; он вдруг начинал верить, что такая-то вещь должна обязательно случиться только потому, что она внезапно пришла ему на ум, или потому, что он сосредоточенно о ней подумал, – всякая причина была хороша, если она соответствовала желаниям Кавини.

В данном случае он говорил себе, что Аверадо случайно услышит Дору, придет в восторг и предложит ей место.

Счастье, которое обычно редко сопутствует человеческому безумию, оказалось на его стороне.

Только прежде чем услышать Дору, Аверадо увидел ее. А когда он узнал, что видение с зелеными глазами, которому он тайно посылал воздушные поцелуи, обладало прекрасным голосом, в нем проснулись его коммерческие инстинкты, он едва мог поверить своему счастью.

Он все забыл – и выгоды, и осторожность, и свое здоровье – и подобно вихрю влетел в скромное жилище Кавини.

Дора была в студии одна; он поцеловал ее и поблагодарил Бога, что она здорова. На эту сцену вошли Кавини, и в миг студия наполнилась веселым шумом; Кавини улыбался, Аверадо сиял, а жена Кавини и его старички родители смеялись и тихонько шушукались.

По приказу Кавини Дора спела гамму, и Аверадо внезапно опять заключил ее в свои объятия, но она постаралась от него отделаться. Он был настоящим итальянцем, не только в оценке музыки, она же еще сохранила строгие англо-французские понятия и вкусы.

День был должным образом отпразднован, и Дора тотчас почувствовала себя окруженной поклонением и лестью; все наперерыв старались выразить ей свое внимание.

После этого она стала упражняться под руководством Аверадо, который послал во Флоренцию за знаменитой Ортес, чтобы продолжать уроки с Дорой.

Менее чем в неделю оперный мирок Флоренции и ее окрестностей перестал быть чужим для Доры; она тоже стала звать каждую новую знакомую «*carissima*» и привыкла к скорым, ничего не значащим поцелуям. В конце концов, жизнь опять приобрела для нее известную прелесть, и она перестала чувствовать себя несчастной.

Аверадо рассуждал с Кавини о будущем. Свое крупное состояние он приобрел не путем альтруизма, но обычным мирским способом, и его знание людей было несколько не меньше его понимания музыки.

– Испания, Мадрид! – воскликнул он, размахивая перед Кавини своими холеными руками. – Родина! Птичка, возвращающаяся в свое гнездо! Какая приманка для сентиментальной нации! Рекламу я поручу маленькому Фредди: у англичан удивительное чутье; они лучше какого-либо другого народа умеют выставить товар лицом и завлечь покупателя. Подождите, вы увидите!

Мадрид действительно оценил Дору. Задолго до их прибытия по всему городу были расклеены афиши в национальных цветах, и в этих афишах Дора фигурировала в качестве «новой дивы» под именем Долорес, причем не упустили случая упомянуть о ее близости с английской аристократией. Конечно, она должна была петь «Кармен». Когда Дора спросила, почему «конечно», Аверадо рассмеялся и успокоительно ответил:

– Все в мире суета. Лучше быть популярным, чем слишком разборчивым. Привередничать могут только люди самонадеянные или очень богатые, первые – потому, что никому нет дела до того, что они собою представляют, а вторые... по другой простой причине. Но, чтобы нравиться, вы должны добиваться «всеобщего единения», хотя и не в том смысле, какой имеют в виду наши священники.

Он познакомил Дору с знаменитой Рашелью Дюр, которая оказала ей покровительство, столь необходимое для начинающей артистки; позднее их связала искренняя дружба.

«Несравненная Рашель» в сорок пять лет хорошо знала жизнь; она умела привлекать к себе все, что было яркого, красочного, живого.

Она была очень некрасива, а вместе с тем очень привлекательна и опасна – то, что французы называют «belle laide»; она была крайне впечатлительна при пониженной чувствительности.

Молва наделяла ее бесчисленным множеством любовников; на самом деле у нее был только один, который умер.

Рашель познакомила Дору с жизнью подмостков, и молодая певица начала более легко и весело относиться к окружавшей ее атмосфере.

Проездом через Париж Дора остановилась у Рашели, квартира которой носила такой же характер, как и хозяйка: она была причудливо, но очень мило обставлена. Рекс приехал туда навестить Дору. Рашель сразу его полюбила; ей нравились его красота и изящество, а также его ум. Дора заметила, что он был единственным человеком, который обращался с ними не как с артистками.

Она вспомнила, что Давид Шропшайр держал себя совсем иначе.

От Рекса она узнала, что Тони никогда не упоминает о ней, зато Джи говорит очень часто.

– Это потому, что говоришь ты, – сказала Дора, догадываясь.

Видя, как Рашель относится к Рексу, она стала внимательнее к нему присматриваться, как это часто бывает, когда новый друг начинает восхищаться старым. Он не делал никаких попыток вновь заговорить о своей любви. Неужели когда-то была эта сцена в саду Ион? Все это казалось теперь далеким и лишенным значения!

В последний вечер перед отъездом Доры в Мадрид Рекс пригласил ее пообедать в ресторане. Потом они должны были заехать за Рашелью в театр.

– Не проедемся ли мы немного за город? – предложил Рекс. – Тебе не будет холодно?

Ей уже приходилось беречь свое здоровье и остерегаться простуды.

Они проехали за Арменонвиль, по направлению к Версалю. У леса Рекс велел шоферу остановиться.

– Выкурим здесь по папиросе, – предложил он Доре.

Они вышли и направились по узкой извилистой тропинке. Высоко над их головами сияли звезды. Рекс зажег папиросу для Доры и, когда она немного покурила, взял ее и стал курить сам.

Дора инстинктивно почувствовала, к чему это ведет.

– Не будем портить наше хорошее настроение, – дрожащим голосом сказала она.

К ее удивлению, он тихо рассмеялся:

– Портить его? Посмотри на меня, Дора. Это звучало как вызов.

Он стоял против нее, и его бледное лицо было едва видно в темноте; только глаза его блестели огнем.

Он взял ее за руки.

– Итак, ты еще не любишь меня?

Дора ответила ему в том же тоне:

– Нет еще.

– Есть кто-нибудь другой?

– Нет.

– Слава Богу. Значит, могу надеяться, – сказал он все тем же странным, сдержанным голосом, в котором одновременно звучали и пыл, и холодность.

– Нам пора ехать, – напомнила Дора.

– Нет, время терпит. Немного еще, только немного...

Он все еще держал ее руки, но теперь он отнял одну и притянул Дорино лицо близко к своему.

– Придет время, полюбишь, – прошептал он, улыбаясь.

Дора не отвечала. Она не могла говорить; ею овладела какая-то робость.

– Поцелуй меня, – послышался голос Рекса. Она отрицательно покачала головой, но Рекс все не отпускал ее, обхватив рукой ее шею.

И внезапно он поцеловал ее.

Она почувствовала прикосновение его мужественного лица и всю неуверенную, трепещущую силу его молодости.

Он ласково выпустил ее и сказал, взволнованно дыша, но вполне спокойным голосом:

– Это тебе на память от меня.

Они поехали обратно, разговаривая о самых обыкновенных вещах. При входе в театр Рекс сказал:

– Ты вспомнишь!

– Так это правда? – сказала Дора. Она задумчиво смотрела на себя в зеркало. И так, она достигла цели окончательно, несомненно.

Вся черная работа позади, скучные приготовления окончены; месяцы, годы, прожитые для достижения этого вечера, планы и опасения Кавини и Аверадо, жизнь и пансион, упражнения, упражнения...

Как бы то ни было, все пережитое потеряло свою остроту, и казалось, что жизнь заключается в том, чтобы стать Кармен, или Мими, или Джульеттой, или Эльзой, или другой героиней, которую ей предстоит изображать.

Слишком большое возбуждение последних дней переутомило ее, и изнеможение как покрывалом окутало ее душу.

Она сидела в полосе света, рассеянно глядя на себя в зеркало, и в то же время перед ее глазами вставала жизнь в Гарстпойнте, у Ион и... Пан.

Работа сослужила свою неизбежную службу – она притупила ее память.

Как далеко, о, как бесконечно далеко все это, и тем не менее в этот вечер при воспоминании о том времени она испытывала тот же ужас, то же содрогание всего своего существа как бы от ожидаемого удара, которое чувствовала она всякий раз, когда образы прошлого осаждали ее мозг. Это было похоже на ощущение человека, который ожидает возвращения физической боли и при первых признаках ее чувствует, как все его тело съеживается от ужаса.

На лице ее еще был грим; глаза были подведены лиловыми кругами, губы были пурпурные. Она долго смотрела на это лицо, так упорно разглядывавшее ее из зеркала.

Тяжелые дни миновали... А все-таки...

Как бы то ни было, утро было заполнено развлечениями – цветы, записки, газетные заметки, интервью. Отель «Ритц» подвергся настоящей осаде, и Дора отвечала на все с присущей живостью, которая увлекала ее в противоположную крайность от ее ночной грусти.

Аверадо расплывался в самодовольстве. Фраза, которая доставляет нам всем такое удовольствие: «Я говорил вам», – не сходила с его языка; учтивость, с которой он встречал каждого нового поздравителя, походила на плащ, постоянно менявший свои цвета, причем каждый последующий был приятнее и мягче предыдущего.

Пришли телеграммы от Рекса и Рашели, а также от знакомых, с которыми она встречалась в свое последнее пребывание в доме Ион, где они в разговорах с нею тщательно избегали упоминания о смерти Пана, в то же время не упуская случая дать ей понять, что им известна ее причастность к этому событию.

Она говорила тогда Ион:

– Мне хотелось бы с полной откровенностью ответить этим людям, которые очень тонко намекают мне, что я или безнравственна, или безумна, или непозволительно скрытна. К несчастью, это невозможно. Это было бы слишком мелодраматично – высказать вслух свои чувства и гордо покинуть дом. Просто так не поступают, и все, что вам остается в таких случаях, – это хвалить красоту олеандров, спрашивать нашу мучительницу, переменила ли она кухарку, или задавать ей какие-нибудь другие жизненные вопросы в том же роде. Все это противно и скучно.

Впрочем, сегодня ей не приходилось жалеть о невозможности ответить должным образом: все послания были вполне искренни и лестны для нее.

От Ион, Джи и Тони не получалось ничего; при мысли об этом радужное, возбужденное



настроение Доры, казалось, опять готово было ее покинуть. Она стояла у окна, смотря на сквер внизу, ярко освещенный полуденным солнцем и совершенно безлюдный в этот час отдыха.

Успех дал ей что-то, но не кого-то: несмотря на славу, которая ее окружала, на жизненный водоворот, который подхватил и нес ее, она чувствовала себя страшно одинокой.

Она попробовала говорить об этом с Аверадо, который, несмотря на свою грубость в известных отношениях, имел честную душу, – своей защитой он уже спас ее от многих ошибок артистической жизни.

Он ласково похлопал ее по руке:

– Вы переутомлены. Некоторые дивы в таких случаях прибегают к истерикам, а вы разочаровались в жизни. Ваше положение лучше. Вам нужно только терпение и благоразумие. Я знаю это. А вообще о женщинах я знаю все.

– Как это ужасно для вас! – сказала Дора.

– Нет, не так ужасно. Мне нравится эта наука. Ничто так не увлекает меня, как изучать темперамент, исследовать его, овладевать им. Женщина, в которой его нет, для меня то же, что труп. Под темпераментом я понимаю такой склад натуры, когда женщина способна на быстрое и горячее увлечение, на слезы, которые хватают за сердце, на переживания, в которых есть красота, на безумную, великолепную в своей откровенности страсть; тайная похотливость в женщине отвратительна. Нет, темперамент – это дар богов, и он делает женщину богиней.

Он вновь похлопал руку Доры:

– А в вас он еще спит.

– Мне кажется, он умер, а не спит, – сказала она трагическим тоном и потом добавила: – По крайней мере, я надеюсь, что это так.

Аверадо раскатисто захохотал:

– Умер? Ах вы, малютка! Как бы я впоследствии смеялся над собой, если бы я поверил вам. Это то же самое, как если бы вы сказали, что звезды умирают каждую ночь, когда они покидают небо. Они скрываются и появляются вновь. Так и ваш темперамент проявит себя, когда вы всего меньше будете его ожидать, и опять я буду иметь это удовольствие, это великое наслаждение повторять: «Я говорил вам».

– Вы славный, Аверадо, – сказала Дора, и он был в восторге.

Аверадо был толст, имел цветущий вид, носил большие усы, и его пальцы сверкали бриллиантами. Он ходил в плащах с дорогими меховыми воротниками и в шляпах, таких ярких, что они могли бы развеселить дождливый день. Он был объемист, а одежда еще объемистее. Его наружность была довольно вульгарна, и он производил впечатление человека самодовольного и любящего хорошо пожить. Он вел параллельно три жизни: одну на подмостках, где он никого не судил, другую – дома, где он пользовался правом супруга и отца судить всех и каждого своим громовым голосом, и, наконец, свою личную жизнь, в которой он наслаждался своим умом. Он происходил из мелких буржуа и любил внешний блеск; поэтому принадлежность Доры к семье лорда возбуждала в нем интерес и заставляла его проявлять к ней больше отеческой заботливости, чем он обычно дарил своим протеже.

Конечно, говорили, что он влюблен в нее, но про него всегда говорили, что он всегда влюблен в свое последнее открытие. По мнению той части публики, которая верила в это, ни одна певица не может сохранить свою нравственность, и все импресарио должны быть непременно донжуанами.

– Все это только увеличивает силу притяжения театральной кассы, – спокойно говорил Аверадо. – Удивительно, почему это добродетельные люди должны платить большие деньги, чтобы посмотреть на тех, кого они считают самыми отчаянными грешниками, и в то же время отказывают в пожертвовании своей церкви на восстановление изображений святых.

Дора находила жизнь странной в другом отношении: она узнала, какую громадную роль играет декорация, фон или их отсутствие.

Дома она была дочерью Тони, здесь она была певицей, рожденной в таборе или около него, и в первый раз она встречала покровительство.

Позднее она умела от него отделяться или сводить его на нет; но в это время она была еще слишком неопытна, чтобы бороться с ним, слишком связана еще правилами веры, от которой она отреклась. Она увидела, как в обществе «расцениваются» артисты, и угадала, что, как бы ни чествовали их и ни льстили им, как бы ни угощали их хозяева тех домов, куда их звали, они все-таки никогда не попадают в избранный круг. Это оскорбляло ее и приводило в такое отчаяние, что она внезапно ударилась в крайность и начала вести жизнь, подобную всем оперным актрисам.

На большом ужине, устроенном в ее честь, она случайно встретила Саварди, который сразу ей понравился.

– Я всегда нравлюсь женщинам, – откровенно сказал он.

Его нельзя было назвать самодовольным, но он просто сознавал, что и мужчины, и женщины всегда восторгались им, не скрывая от него своих чувств. Сын англичанки и испанца, владелец крупного состояния, известный своей ловкостью и силой спортсмен, сильный характер, молодой Саварди получал от жизни обилие благ. Каким-то чудом это не испортило его; конечно, в нем было много самоуверенности, но ему нужно было бы быть ангелом – или ничтожеством, – чтобы противостоять своей судьбе. Так как он никогда этого не пробовал, то, естественно, он находил ее весьма приятной.

Когда он встретил Дору, ему было двадцать пять лет и шла молва о блестящем браке, который готовили ему церковь и его семья.

Он тотчас влюбился в Дору; с ним это и раньше часто случалось, когда женщина нравилась ему. Он подошел к Доре, которая сидела во главе большого стола, очень вежливо и ловко сумел удалить ее соседа и сел на его место.

Дора увидела около себя высокого молодого человека с совершенно черными волосами, от которых его синие глаза, окаймленные короткими густыми ресницами, казались совсем светлыми, и с очень красивым ртом. Своей бодрой силой он напоминал Геркулеса.

У него были отличные манеры, и он вполне правильно говорил по-английски. К концу ужина он спокойно заявил ей:

– Вы самая прелестная женщина, которую я когда-либо встречал, и мне будет с вами страшно много хлопот. Если позволите, я завтра к вам зайду.

Он явился, вооруженный зелеными орхидеями, которые он лично расставил по вазам, объяснив Доре, что прислуга не умеет этого делать. Потом он уселся у ее ног на шелковую подушку и почти с благоговением поцеловал ее руки.

Она не чувствовала никакого стеснения; ее это забавляло, и Саварди ей понравился.

Он сразу привлек к ней внимание любителей сенсаций, купив на весь сезон литерную ложу, и каждый вечер по окончании спектакля посылал ей орхидеи того же золотисто-зеленого оттенка.

Конечно, она поощряла его; только безнадежно холодные женщины, когда ими восторгаются мужчины, не делают этого. Но обыкновенная женщина просто не может удержаться, чтобы не поощрить мужчину, даже в том случае, если она с самого начала убеждена, что никогда в него не влюбится.

Быть может, это эгоистично и даже жестоко, но жизнь так уж устроена, что мы никогда не отказываемся от того, что нам предлагают. Без этого она пала бы слишком тускла и занимала бы нас не больше, чем интересы фермы способны занимать горожанина.

Под поощрением в данном случае надо понимать то, что Дора не разочаровывала своего поклонника; она принимала его орхидеи, позволяла ему целовать свои руки, смеялась над его остроумием и звала его «дорогой друг».

Она не знала, что испанцы умеют крепко держать себя в руках, потому что им это необходимо.

Саварди был совершенно очарован ею. Он сходил с ума по ней и нисколько этого не скрывал. Его родные не обращали на это внимания: по их мнению, каждый мужчина должен был «перебеситься», прежде чем окончательно устроиться. Родственники его будущей невесты смотрели на это дело точно так же: со всеми мужчинами бывали подобные случаи. Вместе с тем все ожидали, что это обойдется Саварди очень дорого.

Он готов был бросить все свое состояние к ногам Доры; она доводила его до безумия; в общем, он совершенно не мог понять ее.

Она была певицей, каждый вечер появлялась перед восхищенной публикой и, казалось, всецело жила жизнью сцены; но, когда она принимала его у себя дома, она казалась совершенно другим существом и держала себя с ним так, что он не имел возможности заговорить с ней в том тоне, в каком ему хотелось.

Напряженное состояние, в котором он находился, постоянно думая о ней, отзывалось на нем. Он похудел, и это послужило ему лишь на пользу; его внешность стала более одухотворенной, и он потерял вид «красивого зверя», который имел раньше.

– Вы играете с огнем, – говорил Доре Аверадо, любуясь ею.

Ни одно дело в течение всей его сценической карьеры не дало ему таких барышей, как выступления Доры, а ухаживание Саварди служило еще лишней приманкой, увеличивавшей сборы. Он был убежден, что Дора вполне сознает свою роль и точку зрения Саварди, но в этом отношении он был далек от истины. Для Доры Саварди был просто влюбленным мужчиной, которого она не любила; конечно, все это дело должно было кончиться так, как это единственно возможно, а пока эта игра очень ее занимала...

Так все шло до тех пор, пока Саварди не пришел в антракт в ее уборную.

Ей показалось, что он похудел, и она сказала ему об этом. Наружность его не пострадала, но в нем не было заметно его прежней самоуверенности.

– У меня лихорадка, – тихо сказал Саварди по-английски.

Антракт был длинный. Дора видела пять отражений Саварди в своем зеркале и не в первый раз, смотря на него, рассеянно думала о том, как он красив. Он подошел к ней и положил руки ей на плечи:

– Долорес, я люблю вас!

Голос его был так сдержан и звучал так почтительно, что в первую минуту это показалось ей забавным. Почувствовав на себе пристальный взгляд Саварди, она подняла голову и встретила с ним глазами. Она продолжала смотреть в его глаза и заметила, что зрачки его расширились настолько, что закрыли почти всю синеву, и в этом момент она почувствовала, что в нем есть какая-то сила, какой нет в других мужчинах: что-то мощное и первобытное, чего не могло ни скрыть, ни сдержать влияние цивилизации.

Руки его нажали крепче на ее плечи, когда он сказал:

– Я люблю вас, как любят святых.

Это тоже не особенно испугало ее. Но в его истомленном мозгу все перемешалось. Его любовь, неудовлетворенное желание, полная неизвестность будущего так подействовали на него, что он смешал воедино религию и страсть, две главные движущие силы людей такого воспитания, как Саварди.

Он склонился над ней:

– Долорес!

От его дыхания зашевелились ее волосы, и она слегка вздрогнула.

– Ах! – воскликнул Саварди со вздохом облегчения. – Наконец-то!

Руки его скользнули ниже и крепко держали ее. Их прикосновение казалось легким, и все-таки она чувствовала, что не может избавиться от них.

Его прерывающийся от страсти голос слабо долетал до нее:

– Сердце мое, душа моя... Вы, как божий цветок... Только любите меня, и вы будете цвести на алтаре моей любви... только любите меня. Вы всегда так холодны, неужели вы всегда так владеете собой? Я не могу больше терпеть, не могу...

Он наклонился и поцеловал ее.

Молодость, романтизм и неугасимая жажда любви, которая живет в каждом из нас и толкает на самые безумные поступки, затрепетали в ней от этого поцелуя. Губы Доры не возвратили его, а только приняли, но этого было достаточно; каждый влюбленный после этого будет питать надежду.

Момент угас, к Доре вернулась ее воля, и она почувствовала себя рассерженной и униженной.

Она быстро встала. Саварди протянул к ней руки. На его упрямом молодом лице читалась просьба; даже в этот миг Дора не могла не заметить, как он был красив. Она сказала, запинаясь и сознавая грубую заурядность своих слов:

– Прощу вас... не надо... Я напрасно позволила вам...

На лице Саварди отразились обида и изумление. Его синие глаза сузились. Он посмотрел на нее долгим взглядом, а потом подошел и обнял ее.

Соппротивление было бесполезно; Дора попыталась уклониться от него, но он вновь плотнее прижал ее к себе.

Поток испанских слов полился с его языка; в его голосе слышались мольба, обожание, власть. Никогда он не был более испанцем, более безжалостным, диким и безумным, чем в эту минуту.

Он считал, что ее колебания – одно притворство. Он не допускал, – как он и сказал ей, – чтобы она могла видаться с ним в течение стольких недель, чтобы она могла позволить посещать ее ежедневно, целовать ей руки, отвозить ее из театра в своем автомобиле и – ничего не почувствовать к нему.

Лицо его было бледно, а синие глаза блестели и стали почти черными.

– Вы больше не принадлежите себе, вы – моя... – сказал он и опять стал целовать ее, крепко прижав к себе.

В промежутках между поцелуями он выражал ей свое обожание потоком нежных слов, но Дора не слушала их. Она чувствовала себя совершенно униженной Саварди, и ей было стыдно за себя, так как эти поцелуи и его обаяние лишали ее сил, а вместе с тем его власть над нею была ей ненавистна.

Внезапно ее слух уловил, что он говорит уже не о своей любви, а о Кордове, и она стала слушать. Он говорил, что они вдвоем уедут на его виллу в Кордову.

– Там так уединенно, так прекрасно. Соловьи поют умопомрачительно, розы, как море, цветут апельсины... Мы будем одни...

Голос его упал до шепота; он прижался лицом к ее волосам и целовал их.

И вдруг Дора поняла, что он не просит быть его женой. Это сознание наполнило ее сердце тоской и горечью.

Она не любила его, она это хорошо знала; но в этот миг она решила, что он должен полюбить ее настолько, чтобы пожертвовать всем для нее; она заставит его просить ее быть его

женой. Неожиданно она сама поцеловала его.

Он отстранился, пораженный своим новым счастьем, а она сказала:

– Приходите ко мне завтра в отель. А теперь поцелуйте меня на прощанье.

Он ласково поцеловал ее и вышел. Он был уверен, что сражение выиграно, а между тем он уже проиграл его. Ему казалось, что мир – игрушка, которой он может играть по своему желанию; в одиннадцать часов он был уже у Доры в отеле с зелеными орхидеями в руках; кроме того, он принес изумрудную цепь, перед которой не устояла бы самая добродетельная женщина.

При ярком дневном свете, с своими черными волосами и ресницами, с бронзовым цветом лица, он был очень привлекателен; на его губах блуждала счастливая улыбка.

Как только горничная Доры затворила за собою дверь и они остались одни, он миглом очутился возле нее, обнял ее и поцеловал долгим поцелуем, а потом отдал ей свои подарки.

– Ничто не может сравниться с красотой ваших глаз, но все-таки, может быть, вы не откажетесь принять эти безделушки.

Он усадил ее на диван и обнял.

– Пожалуйста, наденьте их. Я все боюсь, что вы окажетесь миражем, что вы вдруг испаритесь.

Они стали беседовать и в разговоре коснулись Кордовы.

– Мы поедем туда в автомобиле, – весело сказал Саварди. – Это будет чудесно; дорога скверная, но очень красивая.

Он понизил голос; глаза его заблестели.

– Долорес, когда?

– В конце сезона, – сказала она, улыбаясь ему. – Раньше это было бы невозможно.

– Нет ничего невозможного, – быстро заявил Саварди; он не допускал, чтобы что-нибудь могло противостоять его воле. – Чепуха! Контракт? Я улажу это с Аверадо. Вы споете Миньону, а потом...

– А потом – хоть потоп... – пробормотала Дора.

Он посмотрел на нее с упреком:

– Не надо смеяться над любовью; это всегда немного вредит ей.

Когда Дора вполне осознала, во что вылились их взаимные отношения с Саварди, она не могла не удивляться его взглядам.

Она не понимала, что они не могли быть иными, что по понятиям той среды, в которой он вырос, нельзя было жениться на певице. Поступая так, Саварди только следовал установившимся обычаям. Он был убежден, что всякому, в том числе и Доре, это должно быть вполне понятно. Но если нельзя было на ней жениться, ничто не мешало ему любить ее.

В течение недели Дора позволяла ему приезжать к себе; принимала его изумительные подарки так же, как принимала поцелуи, и предоставляла ему обожать себя. Но так как он все еще не высказывался решительно, она готовилась проучить его.

Опять он был в ее уборной, куда он приходил каждый вечер во время более длинных антрактов. Дора пела в «Паяцах» и стояла перед ним в балетном платье, прикрепляя венок из листьев к своим волосам.

Саварди не выдержал; он вскочил и схватил ее в свои объятия.

– Вы так прекрасны, что я больше не могу этого вынести, – воскликнул он прерывающимся голосом. – Я не могу вам этого объяснить, но, когда я смотрю на вас, я становлюсь одновременно каким-то беспомощным и жестоким. Так не может продолжаться, Дора. Сегодня вечером...

Он уставился на нее сверкающими глазами.

– Сегодня вечером... – как эхо повторила она. – Да что?

Он опустил глаза, губы его улыбались.

– Ну, что это в самом деле? – по-детски пробормотал он. – Что же мне еще сказать?

Но то, что он мог сказать тогда и, по всей вероятности, сказал бы, так как он обладал даром красноречия, осталось навсегда потерянным, потому что как раз в этот миг с шумом и несвязными восклицаниями вбежала горничная. Следом за ней вошел Тони.

Он направился прямо к Доре с невозмутимым приветствием:

– Как поживаешь, моя девочка? – И в то время, как она безмолвно прильнула к нему, он пристально посмотрел на Саварди.

Последний представился ему, назвав свое имя, Тони тоже назвал себя. Саварди сохранил полное самообладание; глаза его не расширились и не сузились от удивления, рот не дрогнул, только ум его усиленно заработал.

Он с почтительностью младшего простился с Тони, наклонился к руке Доры и вышел, наружно совершенно спокойный, но весьма расстроенный в душе. Это осложнение смутило даже его оптимизм. Конечно, в начале знакомства с Дорой он слышал ее историю, но та часть ее, которая относилась к Испании, только укрепляла его в его взглядах и облегчала ему его путь.

Он вполне понимал суровое отношение к Доре ее английских друзей; она была певицей, и ничего больше, а потому ничто не мешало ему, встретив ее, полюбить именно так, как он полюбил и намеревался любить впредь.

Появление лорда Рексфорда меняло всю картину. Он понял это сразу, а также и то, что лорд Рексфорд такой человек, которому всего менее понравится его ухаживание в том духе, как он его предпринял.

Он прямо отправился к своим отцу и матери, которые уже спокойно лежали в постели, и с жестами южанина и слезами на глазах поделился с ними своим отчаянием.

После бесконечных обсуждений, довольно горьких упреков с обеих сторон, прощений и поцелуев он, наконец, добился того, что он имел в виду, входя за два часа перед тем в комнату своих родителей.

Он написал Тони официальное письмо, прося у него руки Доры, и добавил, что на следующее утро в одиннадцать часов он будет иметь честь лично явиться к лорду Рексфорду.

Письмо он сам занес в отель...

Как только Саварди вышел из уборной, Тони тотчас стал расспрашивать о нем: то есть он выбрал сигару, закурил ее, а потом, помолчав некоторое время, спросил:

– А кто этот дон Луис Саварди? Который из них?

– Он – единственный сын.

– Вероятно, желает жениться на тебе?

Дора не сразу ответила.

– Он влюблен в меня, – наконец, сказала она.

Тони кивнул головой.

– Он, конечно, хочет, чтобы ты стала его женой? Я не удивляюсь.

Он с нескрываемым отвращением оглядел уборную; он чувствовал себя тут совсем не к месту. Он не объяснил Доре причину своего необыкновенного появления, и она не стала его расспрашивать: было так чудесно, что он приехал.

– Тебе это не может нравиться, – довольно грубо сказал он, – весь этот запах, жара и... вообще все это...

– Наоборот, мне это нравится. Я даже в известной мере люблю это.

– Боже мой! – сказал Тони.

Ее слова поразили его. Он некоторое время сидел молча, положив руки на колени, курил и продолжал осматривать комнату.

– Почему ты не выходишь за него замуж? – наконец сказал он.

Она сначала подумала, что он имеет в виду Рекса, но он ласково продолжал:

– Он красивый малый, наверно, спортсмен и все такое. Почему ты не хочешь?

У Доры мелькнуло лукавое желание пойти на полную откровенность и воскликнуть: «Дорогой мой, потому, что он не просит меня быть его женой и никогда этого не сделает, если я не приведу к этому хитростью». Но она не захотела огорчать Тони в такой момент, когда он сам явился к ней.

– Не будем говорить о Саварди, – быстро сказала она. – Расскажите мне все, все. Как поживают Рекс, Джи, лошади, весь дом?

– О, все хорошо! – ответил Тони. – Джи немножко одряхла. Время бежит, нельзя же вечно скакать наравне с двухлетними.

Он мотнул головой в сторону зрительного зала:

– Я все время был там, слушал тебя. Взгляд его стал немного резче.

– Я бы лучше послушал тебя, Дора, в гостиной дома!

– О дорогой мой! Тони, милый, разве вы не понимаете?..

– Мы пока не будем говорить об этом, – согласился Тони с тем великодушием, с которым мы обычно относимся к мелочам, как бы желая задобрить нашего собеседника и настроить его более уступчиво для серьезного дела. – Еще рано говорить о делах, правда.

Он посмотрел на Дору, и рот его сжался в забавную гримасу, которая придала лицу его задорное и имеющее с тем наивное выражение.

– Вещи мало меняются, – сказал он.

– «On revient toujours?» – сказала Дора, и глаза ее весело заблестели.

Одной из слабых сторон Тони было его отвращение к иностранным языкам.

Но если он и не понял сказанных ею слов, смысл того, что она хотела ими выразить, был ему вполне понятен.

– Сколько у тебя цветов! – заметил он.

– О, меня балуют.

– Я верю тебе, моя дорогая. Ты освободишься на сегодняшний вечер, чтобы поужинать со мной?

– Я отказалась бы от всех приглашений в мире, чтобы побыть с вами, дорогой.

Это доставило ему большое удовольствие, и он сказал с улыбкой, стараясь по-своему выразить свою благодарность:

– Конечно, когда проходит время, начинаешь видеть вещи в другом свете.

Дора, давно привыкшая в разговорах с Тони быстро восполнять недостающие логические звенья, мгновенно поняла, что этими словами он кается в том, что он так сурово с ней расстался. Она подошла и стала около него на колени, причем ее тюлевая юбочка колоколом поднялась вокруг нее. В эту минуту она казалась совсем юной.

– Тони, Дорогой, – ласково сказала она, положив руки ему на колени.

В этот момент влетел Аверато и разразился громким смехом; он остановился в дверях, раскачиваясь из стороны в сторону и жестикулируя, причем все его бриллиантовые запонки трепетали, как маленькие солнца, а кольца сверкали на руках, которыми он размахивал.

Нахохотавшись вдоволь, он с итальянской чистосердечностью принес свои извинения.

Тони сидел и смотрел на него, обратившись в соляной столб. Он покосился на несколько необычные украшения, которыми был усеян Аверато, потом его неподвижный взор остановился на лице итальянца.

Дора нервно назвала имя своего гостя, и Аверато стал усиленно раскланиваться. Не успел Тони оправиться от этого удара, как вбежала контральто Ричини и бросилась целовать Дору.

Это была огромная женщина, страшно затянутая, надушенная и очень декольтированная. Тони наблюдал за ней с тем безразличным интересом, с каким смотрят на какую-нибудь обезьяну или диковинного уroda.

Он встал, пробормотал, что встретится с Дорой позднее, и пошел на свое место.

Появление Аверадо и Ричини все-таки имело известный результат: Тони вынес из уборной убеждение, что Дора не может чувствовать себя хорошо в такой среде, и решил, что его просьба вернуться домой будет услышана.

Жизнь без нее стала ему невыносима, и он только и мечтал о том, чтобы она вернулась домой или, по крайней мере, вышла бы замуж; мысль, что она ведет такую жизнь, приводила его в отчаяние.

Дни в Гарстпойнте без Доры тянулись так бессмысленно и монотонно, что иногда казалось, точно Джи, Рекс и он сам просто глупые марионетки, которых дергают за веревочки и заставляют жить по заранее составленному расписанию.

Рекс почти постоянно был в городе, и они с Джи молча сидели вдвоем друг против друга. После одной особенно скверно проведенной недели он не выдержал, встал и коротко сказал:

– Я еду в Мадрид.

– Хорошо, – ответила Джи, и он в тот же день выехал ранним поездом, чтобы попасть на пароход.

Переступив границу, он почувствовал себя необычно, точно года возвратились обратно и он опять переживал старые золотые дни, давал указания горничной Франчески, рассуждал об автомобиле; опять те же таможенные офицеры в своих опереточных костюмах, те же полицейские в нелепых высоких шляпах; те же говорящие в нос женщины, снующие взад и вперед и предлагающие бутерброды, кофе и абрикосы.

Ничто так его не тронуло, ничто так не приблизило к нему Дору, как это переживание в памяти прошедших лет...

Даже жар и пыль Мадрида, шум трамваев, долетавший до его комнаты в отеле, и отсутствие всего того, что, по его мнению, делало жизнь сносной, не ослабило нежного чувства, которым было полно его сердце.

Он рано пообедал, отправился прямо в театр и сел далеко в глубине своей ложи.

Взрыв шумных аплодисментов при появлении Доры доставил ему некоторое удовольствие, но не примирил с ее положением. Подмостки были не для настоящих женщин: по мнению Тони, это всякому было очевидно, и он удивлялся, что Дора до сих пор не поняла этого.

Продолжительный осмотр ее уборной, теснота, жара, чрезмерный свет – все это еще более укрепило его в этом мнении. Он смотрел на фотографии – все с надписями: «ваш навеки», «драгоценной Долорес», – на глупые, подаренные на счастье безделушки вроде черных кошек, подков, старых гвоздей и других ничего не значащих предметов, на разбросанные повсюду вещи; обратил внимание на запах жирных гримировальных красок, смешанный с сильным ароматом цветов и любимого Дорой жасмина, и нашел, что ни одно человеческое существо не может жить добровольно в такой атмосфере, не может любить ее.

Он отправился в казино, заказал в ресторане самый лучший ужин, какой только мог придумать, и стал терпеливо ожидать в автомобиле у театрального подъезда.

Дора выбежала к нему, одетая в платье с замечательной зеленой отделкой, на которой порхали серебряные птицы. Она тоже была взволнована. На нее, как и на него, нахлынули воспоминания; появление Тони и его отношение к ней дали ей почувствовать, что она еще принадлежит к его миру. Она попыталась подумать о своей настоящей среде и должна была сознаться, что не чувствует к ней симпатии.

Но когда Тони стал уговаривать ее бросить сцену и вернуться домой, она почувствовала,



что ее новая жизнь все-таки имеет для нее большую прелесть. Она сознавала, что не будет в силах от нее отказаться; внезапно это встало перед ней с удивительной ясностью. Она слишком обожала аплодисменты, всю внешнюю сторону своего успеха; сознание своей власти над толпой было для нее неиссякаемым источником наслаждения.

Она уклонилась от прямого ответа, и Тони подумал: «Пусть обсудит и решит». Это было его излюбленным способом действия в затруднительных случаях.

Письмо Саварди понравилось ему; он с интересом ожидал прибытия этого завоевателя.

Когда тот явился и Тони близко познакомился с ним, он решил, что это вполне подходящий человек. Саварди пришелся ему по сердцу; он не заметил в нем никакой хитрости, а видел перед собой только хорошо сложенного молодого человека, который страстно желал жениться на Доре, имел доходы и имя, несомненно, хорошо ездил верхом, охотился и был бы ему хорошим помощником в этих двух важных предметах.

А Саварди в это время думал: «Он ничего не заподозрил; он достаточно глуп для этого. Слава Богу, что он явился не слишком поздно».

Он провел скверную ночь, проклиная себя и свою несчастную звезду. Рексфорд ласково принял и ободрил его.

Оставалось ждать, что скажет Дора.

– Она завтракает у меня, – сказал Тони, – оставайтесь тоже.

Вошла Дора, совсем не похожая на примадонну; она была вся в белом, в соломенной белой шляпе на голове и без всяких драгоценностей, исключая нитки жемчуга, подаренной ей Тони.

– Вот, дорогая моя, – сказал Тони, целуя ее, – к тебе гость.

Дора подняла глаза на Саварди, и его сердце безумно забилося.

Он сильно побледнел.

Когда Тони вышел «за сигарами», Саварди побледнел еще больше; лицо его выражало борьбу гордости и упрямства.

Внезапно он опустился перед нею на колени.

– Дора, я только что просил у лорда Рексфорда вашей руки.

Он остановился, не будучи в силах продолжать, но взгляд его был устремлен на нее; она заметила, что его губы дрожат.

И неожиданно ей стало жаль его. Она ждала этой минуты, чтобы сделать ее минутой своего торжества, и вдруг это желание покинуло ее.

Саварди прошептал едва слышно:

– Матерь Божья, как я люблю вас!..

Это звучало, как молитва, но Дора знала, что эти слова имеют чисто мирской смысл, и, странным образом, в этот момент она увидела в Саварди что-то детски просительное.

Может быть, он заметил, что взгляд ее стал мягче, только он наклонился, нежно обнял ее и потом, подобно буре при ясном небе, поцеловал с такой страстностью, что она почувствовала, что лишается сил. Через мгновение она услышала, как Саварди прерывающимся голосом повторил:

– Ответ, ответ...

Он задышался, точно после быстрого бега.

– Откройте глаза, моя дорогая, – и последовал целый поток испанских нежных слов.

Его голос, такой страстный, полный такого обожания, помимо ее воли тронул ее. Так приятно было опять быть любимой, хотя и не любя, и чувствовать себя победительницей... ведь победа – такой бальзам для наших ран. А Саварди такой... и она ведь так одинока...

– Моя красавица, моя, моя, моя... – заикаясь, твердил Саварди, и внезапно он склонил голову на их соединенные руки.

И каким-то образом оказалось невозможным сказать «нет», хотя она сознавала, что действует под влиянием этой минуты, под влиянием просящей, великолепной, настойчивой молодости Саварди.

Он поднял голову, улыбнулся ей и с внезапной переменой настроения, которая была так привлекательна в нем, сказал:

– До вашего появления я не имел понятия, что можно хотеть жениться.

Дора заглянула в его синие, окруженные густыми ресницами, глаза:

– У вас есть родственники в церкви и в дипломатии? – серьезно спросила она.

– Ну, конечно...

Она не опустила глаз; ее образ мыслей был так чужд ему, что он не чувствовал тонкого упрека в ее словах.

Он встал с колен, пылко обнял Дору и стал целовать ее, как она потом, задыхаясь, сказала ему, «слишком по-испански».

Он рассмеялся, глядя ей в глаза.

– Я поцелую вас «по-английски», – сказал он и едва коснулся своими губами ее щеки. – Вот так!

Он остался завтракать, потом остался до чая. Дора и Тони должны были на другой день у него обедать; они еще не знали, что значит испанская помолвка, и узнали это только в течение будущей недели.

Между тем Саварди нравился Тони все больше и больше. Никакие влюбленные в мире не умеют быть так рыцарски внимательны, так корректны, как испанцы, и все это весьма нравилось Тони.

Между ним и Саварди был решен вопрос, – хотя они его и не обсуждали, – что Дора тотчас после свадьбы уйдет со сцены. Они были убеждены, что эти два события должны последовать одно за другим, «как ночь следует за днем».

Если у Саварди и были сомнения по этому вопросу, он их не высказывал.

Саварди усердно ухаживал за Дорой, стараясь предоставить ей все, что было в его власти, – ласки, обожание, лесть, роскошные подарки. Ее везде приветствовали; присутствие Рексфорда придало ей новый престиж.

Дора не думала, не допускала себя до размышлений. Она позволяла Саварди любить себя, и сама поддавалась обаянию его любви, его ненасытной молодости. Жизнь ее за последние два года была грустна и одинока; Саварди сумел пробить дорогу к ее сердцу, и если ему не удалось зажечь огонь на этом алтаре, то на нем все же светилось слабое отражение пламени, пылавшего в его собственном сердце.

Женщины выходят замуж и из-за меньшего. Дора любила в нем его стремительность, его веселость, его мужественность, те качества, которые нравятся женщине потому, что они заставляют ускоренно биться пульс, выбивают жизнь из ее обычной колеи.

Втайне Дора не оставляла намерения продолжать свою сценическую карьеру. Она предвидела, что предстоит борьба, и надеялась, что она будет решена до свадьбы, так как она была убеждена, что после этого события борьба может дать обеим сторонам только половинную победу.

Случайное замечание Саварди привлекло ее внимание. Как-то вечером он перед уходом целовал ее на прощанье, и этот «последний» поцелуй так затянулся, что, казалось, он продлится до утра. Саварди сидел на диване, держа ее руки и ласково целуя ее, и вдруг сказал, прижавшись своими губами к ее волосам:

– Dias! Жизнь ужасно тяжела и трудна. Мне хотелось бы запереть вас, чтобы никто, кроме меня, не мог смотреть на вашу красоту.

Он говорил совершенно серьезно; его синие глаза жадно смотрели на нее.

– Мне было бы душно, моя душа задохнулась бы в такой жизни, – сказала Дора.

Он положил свою холодную руку ей на плечо.

– Но мы должны всецело принадлежать друг другу; вы вся будете моею.

– Ах, мы должны...

Она почувствовала холодный ужас. Предстоящая борьба больше не рисовалась ее воображению только неприятной, отчасти даже забавной. Она знала теперь, что это будет вопрос величайшей серьезности.

Бесполезно было рассчитывать на помощь Тони: его взгляды были ей известны. Оставалось только взять назад свое слово.

Аверадо ускорил ее решение, спросив ее, как она думает поступить; у нее был с ним контракт, согласно которому она была связана еще на пять лет.

– Конечно, я выполню его, – сказала Дора. – В этом не может быть сомнения.

Аверадо был крайне обрадован и вместе с тем удивлен. Он не сказал Доре, что лорд Рексфорд спрашивал его, подобно неприятелю, просящему перемирия, сколько он потребует за расторжение этого контракта.

В последнюю неделю сезона, при палящей жаре, начались бои быков и разные празднества, и как раз в это время явился Рекс, такой же сдержанный, холодный, полный самообладания, как и всегда. Своим светлым цветом волос, немного томным видом, слегка насмешливым голосом и полным отсутствием рисовки он представлял полную противоположность Саварди.

– Так это правда? – спросил он Дору.

Он внимательно посмотрел на нее.

– И ты счастлива так, как ты этого желала?

– Кто же бывает вполне счастлив? – с грустью ответила она.

Дора предпочла бы, чтобы Рекс не приезжал; его приезд был для нее как бы упреком, а вместе с тем она чувствовала, что ей не в чем упрекать себя.

Саварди и Рекс были вполне вежливы друг с другом. Саварди угадал то, чего он никогда бы не узнал, и чувствовал, что Рекс имеет права на какой-то уголок в душе Доры.

И Рекс как-то спокойно завладел Дорой: он постоянно бывал у нее в театре, в отеле, ездил с ней, катался верхом.

Саварди не нравился его тип, и он не понимал его; он казался ему безжизненным, самодовольным, У него с Рексом было очень мало общего во вкусах и еще меньше во взглядах; вместе с тем казалось, что молодой человек много пережил и, во всяком случае, не был глуп.

Выбор его друзей тоже был какой-то удивительный; по-видимому, ему нравился толстый и неугомонный Аверадо, который не проявлял по отношению к нему никаких особых чувств и вместе с тем, как заметил Саварди, готов был сделать для Рекса то, чего он не сделал бы ни для кого другого, Саварди в том числе.

Только сестра Саварди, Рене, мечтала о нем, о его белокурых волосах, улыбке, голосе.

Доре казалось, что Рекс подсмеивался над ее женихом, и она попробовала расспросить его об этом, но он улыбнулся и ответил отрицательно.

– Нравится тебе Саварди? – спросила Дора.

– Дора. – Он спокойно встретил ее взгляд. – Конечно, меня пожирает ревность к нему. Он хороший спортсмен, и манеры его великолепны, но в нем нельзя не заметить отличающую его смесь дикости и утонченности.

Он отправился вместе с Саварди на бой быков, чем Дора была страшно удивлена, так как сама чувствовала отвращение к этому зрелищу.

Она встретила его после этого в гостиной Тони.

- Ты уже вернулся? – спросила она.
- Да, Саварди там окружила целая толпа, а я предпочел вернуться.
- Понравился тебе бой быков?
- Нет. Это нечто ужасное.
- Зачем же ты пошел? – Она была искренне удивлена.

Рекс лежал, растянувшись во всю длину на диване и закинув руки за голову. Он открыл глаза:

- Саварди пригласил меня в надежде, что я откажусь; поэтому я и пошел.
- Но почему же? Это звучит довольно глупо.
- О, он-то отлично понимает.

Надвигалась буря. Багровое небо было испещрено пурпурными облаками; деревья дрожали.

- Как тихо, – сказала Дора.
- Да, затишье перед грозой; вынужденное спокойствие всегда что-то предвещает.

Он пристально посмотрел на нее:

- Дора.
- Да?
- Когда ваша свадьба?
- Одному небу известно.

– Может быть, это и известно небу, но удовлетворит ли это Саварди? Меня бы это не удовлетворило и не удовлетворяет по очень простой причине: есть такие вещи, как поезда, пароходы для обратного путешествия...

- Ты хочешь вернуться? – спросила Дора.
- Конечно.

– Рекс... – В ней пробудилось любопытство, которое никогда не покидает женщину по отношению к мужчине, который любил ее; она сознавала, что вопрос ее будет неуместен, но любопытство взяло верх: – Рекс, зачем ты приехал?

- Чтобы видеть тебя, моя дорогая, – сказал он с улыбкой.
- Ах, только... только за этим? – в голосе ее прозвучало разочарование.
- Мне хотелось посмотреть, что за человек Саварди и будет ли он любить тебя.
- Ну, что же ты думаешь – будет? Ты одобряешь?
- Он – порядочный малый, явно ограниченный, но это лучше скрытой хитрости.

Губы Доры дрогнули улыбкой. Она подумала о первой попытке Саварди овладеть ею; был ли он так уж прямодушен?

«Что бы сказал Рекс, если бы он знал эту историю?»

– Намерена ли ты после свадьбы остаться на сцене? – неожиданно спросил Рекс. – Мне это кажется сомнительным. Как-то трудно представить себе сеньору де Саварди Далилой, испускающей исторгнутый страстью крик.

Дора подошла к дивану и посмотрела на Рекса:

- Рекс, что мне делать? Я не хочу отказаться от сцены.
- Я знаю, но боюсь, что тебе придется. То, что ты этого не хочешь, ничего не меняет.

Она почувствовала себя обиженной его легкомысленным тоном и захотела отомстить ему.

- Саварди обожает меня, – сказала она.

– По-своему, – очень спокойно ответил Рекс. – Но, к несчастью, такая любовь не даст тебе возможности поступать по своему желанию. Это всегда так бывает. Надо любить человека больше, чем самого себя, чтобы добровольно дать ему такое право над собой. Во всяком случае, – он сел и вынул портсигар, – ты можешь отказаться от «своих желаний».

Дора повернулась и под села к нему на диван.

– Рекс, что ты говоришь? – растерянно пробормотала она.

Он встал, подошел к окну и закурил папиросу.

Дора посмотрела на его силуэт на фоне грозного неба. Его лицо выражало решимость, и, глядя на него, она вдруг подумала, что мужественность в человеке не всегда бросается в глаза. Она может быть и там, где полное самообладание как бы подавляет личность, и в таком скрытом состоянии она бывает еще сильнее. Надвигавшаяся гроза привела ее в возбужденное состояние. Ей не нравилось, что Рекс слишком владеет собой, держится как-то вдалеке от нее; никогда еще он не был так спокоен, так сдержан.

Если бы он не приехал, жизнь была бы проще; его приезд не усилил ее любви к Саварди, не подействовал на нее так, как иногда действует возвращение старого друга. Просто Рекс явился как бы контрастом Саварди, а ее настроение еще недостаточно установилось, чтобы желать новых влияний.

Вошел Саварди и первым увидел Рекса; его синие глаза сверкнули.

Он поцеловал Дору, тихо заговорил с ней, как говорят, когда хотят как бы отгородить себя и своего собеседника от прочего мира.

Рекс по-прежнему стоял у окна и смотрел на сгущающуюся темноту на улице, на низко гнувшиеся деревья и раздувавшиеся тенты.

Казалось, точно нет ветра, а между тем все летело, двигалось и качалось со страшной быстротой.

Саварди безумно желал, чтобы Рекс ушел, и продолжал что-то шептать Доре. Он был возбужден зрелищем боя быков, а выпитое отличное шампанское еще больше взвинтило его.

Ему хотелось целовать и целовать Дору, а этот человек без всякого дела стоял тут, как на молитве.

– Понравился вам бой быков, сеньор Гревиль? – внезапно спросил он.

– О да, благодарю вас.

– Значит, вы одобряете наши развлечения?

– Почему же нет, дон Луис?

Саварди увидел, что этим ничего не достигнет. Время тянулось. Наконец, как раз перед тем, как разразилась гроза, Саварди ушел.

– Я не могу ехать в театр, пока это продолжается, – сказала Дора, глядя, как град колотит по улице. – Это невозможно. Боже, Рекс, как меня раздражает жизнь!

И так как он продолжал молчать, она сказала с нервным смехом:

– Я хотела бы, чтобы меня кто-нибудь утешил.

Эти слова как будто вернули их к прежней жизни в Гарстпойнте.

– Рекс, я в таком сомнении...

Ей хотелось, чтобы он расспросил ее, но он спокойно сказал:

– Ты невеста; никто ведь не может принудить к этому.

– Обстоятельства могут, – мрачно ответила Дора.

Он по-прежнему не глядел на нее. Его задумчивый взгляд был устремлен на мокрую дорогу. Вдруг Дора спросила:

– Как отнеслась Джи к моей помолвке?

– О, она надеется, что ты будешь счастлива, и так далее, и тому подобное. Он улыбнулся ей:

– Джи держала себя так, как это следовало от нее ожидать.

В его словах заключался двойной смысл, так как Джи отнеслась «как следует» к этому обстоятельству не только по отношению к Доре, но и по отношению к нему, Рексу.

Она не расспрашивала о выборе Доры; она пожелала ей всякого счастья, а потом взяла его голову своими тонкими сморщенными руками и положила ее к себе на плечо. Если Рексу при

чтении письма, в котором извещалось о помолвке Доры, показалось, что вся прелесть и радость ушли из жизни, она через него прониклась его чувством – что жизнь потеряла всякую ценность.

Она не была бы так потрясена этим известием, если бы она знала, что любовь Рекса – обыкновенная, сильная, но спокойная любовь, не поглощающая всего человека; конечно, отчаяние его в таком случае огорчило бы ее, и только. Но она знала, что некоторые люди так созданы, что любовь заполняет всю их жизнь, не оставляя в ней места ни для чего другого, и что для таких людей единственный путь к счастью – это обладание любимой женщиной.

Рекс не был монахом, но он никогда ни об одной женщине не говорил с любовью, кроме Доры. Джи знала его насквозь, знала его страсть к прекрасному, остроту его ума, его непоколебимое упрямство. Эти три свойства соединились в его любви к Доре.

– Я хочу иметь лучшее или ничего, – мрачно сказал он как-то Джи.

Это она посоветовала ему поехать в Мадрид; она угадала, что у него есть эта мысль, и, насколько могла, облегчила ему ее исполнение.

Свадьба Доры оттягивалась. Рекс видел достоинства и недостатки Саварди и понимал, что он любит настолько, насколько он способен любить данную женщину в данное время. Он заметил, что Дора не любит его и тем не менее выйдет за него замуж, если кто-нибудь своим влиянием не остановит ее. Ему стало ясно, что ему больше нечего тут делать и что следует вернуться в Англию; он признавал, что Саварди вполне прав, не любя его, и презирал себя за то, что хотел использовать эту нелюбовь.

В этот вечер он понял, что должен уехать, так как если Дора не любит Саварди, то и его она тоже не любит; а между тем его присутствие только мешает ей сосредоточиться и разобраться в своих чувствах.

– Я завтра уеду, моя дорогая, – сказал он. – В такую погоду я предпочитаю Гарстпойнт.

– Ты хочешь завтра уехать? – отозвалась Дора; сердце ее сжалось. – О, зачем?!

– Много причин, а главная – я так хочу.

В комнате было почти совсем темно, и они едва могли разглядеть друг друга.

– Не уезжай, – сказала Дора; она подошла к нему и положила руку на его плечо. – Мне было так... так приятно, что ты тут был. Саварди...

– Не любит меня, но относится ко мне хорошо, ты это хочешь сказать? – прервал он ее.

– Он тебя любит.

– Нет, дорогая моя, и я тоже его не люблю.

– Какая чепуха! Но даже если так, то почему это?

Рекс подумал: «Умышленно ли жестока женщина или это происходит от нервов?» Ему хотелось схватить руку Доры, сжать ее в своей и сказать ей: «Потому, что мы оба тебя любим. Потому, что он подозревает, что я люблю, и я знаю, что он это думает. Потому, что мне ненавистно быть при том, как он касается тебя, думать о мгновениях, когда он тебя целует. Потому, что я ненавижу его, явившегося первым, когда я опоздал, и не по своей вине, так как это просто дело случая, счастья – зовите это как хотите. Я ненавижу его также за то, что из-за него презираю самого себя».

Вместо этого он сказал:

– Просто мы не подходим друг другу, хотя оба очень милые люди – только каждый на свой лад.

Он продолжал разговор в том же шутливом тоне, стараясь поддержать в себе бодрость.

Ни разу еще со времени своего приезда в Мадрид он не чувствовал себя таким взволнованным; Дору тоже никогда еще не влекло к нему так сильно, как в этот момент. Нервы его были натянуты; очевидно, и на него действовала гроза. Он сознавал, что если не уйдет сейчас, то никогда себе этого впоследствии не простит. А между тем ему страстно хотелось

сломать хрупкую преграду, которая отделяла его от Доры, хотелось умолять ее взять обратно данное ею слово, хотелось рассказать ей о бессонных ночах и мучительных днях, прожитых им в разлуке с ней. Вместо этого он заставил себя сказать:

– Мне пора, моя дорогая. Если позволишь, я завтра утром зайду проститься.

Он не решился поцеловать ей руку. Дойдя до двери, он зажег свет и, обернувшись, сказал:

– Итак, до свиданья.

Рекс закрыл за собой дверь и остался один в бесконечном коридоре; ему стало смертельно больно от сознания, что случай упущен и что встреча, которой он так жаждал, окончилась ничем.

Он долго стоял так, задавая себе уже бесполезные вопросы: зачем он не остался немного дольше? Зачем он так держал себя? Ведь на самом деле ему вовсе не хотелось уходить и все его существо рвалось обратно к Доре.

Он направился вниз по широкой, устланной мягким ковром лестнице.

Дождь перестал на некоторое время, но небо низко нависло, подобно темной угрожающей волне, готовой хлынуть каждую минуту.

Молния сверкала серебряным огнем, но грома не было слышно: воздух был тяжелый и душный.

Рекс вышел и направился через площадь; как раз в эту минуту прямо перед ним низко пригнулась акация, точно чья-то рука потянула ее вниз. Вслед за этим разразился второй приступ бури.

Рекс побежал, немного прихрамывая, вперед, завидев перед собой слабый четырехугольник света, суливший ему убежище. Он нашел полуоткрытую дверь и вошел в нее. Откуда-то невнятно доносились голоса – мужской голос смеялся, кто-то пел. Осмотревшись, Рекс понял, что, вероятно, находится в боковом входе «Cafe du Nord». До него доносились звуки оркестра, и ему казалось, что он узнает место.

Дождь лил как из ведра; Рекс решил переждать тут и присел на покрытых линолеумом ступеньках лестницы.

Комната на верхнем конце лестницы, очевидно, была занята какой-то веселой кутящей компанией.

Звуки музыки прерывались взрывами громкого хохота. Рекс вспомнил о бое быков и понял, почему это торжество происходит в такой ранний час.

Он закурил папиросу. Ему казалось странным, что завтра в этот час он будет уже далеко; необычайным это казалось просто потому, что он действовал вопреки своему желанию, даже прямо против своей воли.

Он никогда так не любил Дору, как теперь, после того, как их жизнь долгое время текла по разному руслу. Он находил в ней что-то новое, и эта новизна придавала ей особую прелесть или, может быть, еще более выдвигала все те качества, которыми он особенно дорожил в ней.

Он пытался подумать о том, как он теперь наладит свою жизнь, как он будет проводить время, которое так грозно вставало перед ним. Когда любишь и не любим, время становится беспощадным врагом, и от него не уйти.

Он представлял себе, что вернется в Лондон, останется там, будет читать в газетах о Доре и... пуще прежнего будет ненавидеть Саварди.

Ибо в глубине души он ненавидел и презирал его, не отдавая себе отчета в том, откуда рождалось это чувство.

Он презирал его, хотя и признавал в то же время, что ревность мешает ему быть вполне справедливым к нему.

И, странным образом, как раз в эту минуту он слышал голос Саварди: он выкрикивал чье-

то имя, имя Доры.

Кровь бросилась в голову Рекса.

– Негодяй, он, наверное, пьян!

Другой голос отчетливо крикнул:

– В честь свадьбы!

Судя по звукам, там занялись наполнением стаканов.

Рекс встал, собираясь уйти, но в этот миг чей-то молодой, звучный бас произнес:

– У него и в мыслях не было жениться на прекрасной Долорес, только отец ее настоял...

Послышались крики, ругань, восклицания, смех. Рекс, нервы которого были напряжены до последней крайности, в два прыжка очутился на верху лестницы и толкнул дверь.

Саварди боролся с другим молодым человеком. Несколько юнцов окружали их и со смехом и бранью пытались их разнять. В тот момент, когда вошел Рекс, молодой человек высвободился из рук Саварди; на лице его была кровь в том месте, где он получил удар.

Он яростно кричал:

– Это правда! Вся наша семья знает, что это правда. Весь Мадрид знает, что Луис не хотел жениться на оперной певице. Он собирался увезти ее на свою виллу в Кордове; мой отец видел все приготовления, а тут как раз появился этот лорд Рексфорд...

Друзья его удерживали Саварди. Случайно один из них увидел Рекса и шепотом произнес его имя; Саварди быстро обернулся, и взгляды их встретились.

«Теперь я знаю, почему я не доверял ему», – подумал Рекс. Мысль эта как льдина обожгла его воспаленный мозг.

Он направился к Саварди и остановился на расстоянии одного шага; они были одного роста, и каждый в упор смотрел на другого.

Прошло мгновение, ни тот, ни другой не двигался, затем Рекс поднял руку, слегка ударил Саварди по лицу и отступил назад.

Саварди хрипло рассмеялся; его приятель Мигуэль Мартинес выступил вперед, поклонился Рексу, подал ему карточку и начал по-испански целую речь.

Рекс взял карточку, разорвал ее надвое и, продолжая смотреть на побледневшее лицо и горящие глаза Саварди, ударил его вторично, так же легко, как и в первый раз.

Саварди схватился с ним, и Рекс почувствовал великую радость, когда, наконец, враг его очутился в его руках; он ощущал в себе прилив сил и во всем теле необыкновенную легкость. Ни тот, ни другой не проронили ни слова; в комнате водворилась полная тишина. Саварди чуть удалось опрокинуть Рекса, но мгновением позже Рекс сбил его с ног и швырнул об пол.

Лишь только он сделал это, он почувствовал нестерпимую боль в своем больном боку. Туман застилал ему глаза, но сквозь него он все-таки видел, что Саварди все еще лежит на полу.

Рекс усмехнулся и машинально сделал шаг вперед, чтобы помочь испанцу встать.

Но другие уже подбежали; тогда он повернулся, подошел к висевшему на стене пыльному зеркалу в тусклой золотой раме с бумажными букетами по углам, поправил свой воротничок и тщательно перевязал галстук.

Затем, по-прежнему высоко держа голову, он вышел из комнаты и сошел с лестницы.

Дождь прошел, и Рексу приятно было очутиться на свежем воздухе.

Боль в боку была так остра, что в голове его мутилось и он не мог ничего сообразить; он сознавал, что ему нужно попасть в свой отель, но он забыл дорогу.

Послышался звон трамвая, который остановился как раз против него. Рекс направился к вагону и пробормотал название гостиницы. Кондуктор в ответ начал что-то говорить и энергично замахал рукой; наконец, Рекс понял, что находится в двух шагах от своей гостиницы.

Он как-то дошел до своей комнаты; его слуга как раз приготовил ему платье к обеду.



Упавши в изнеможении на постель, Рекс сказал:

– Позовите доктора – поищите какого-нибудь получше, и... и пусть ни одна душа не знает – даже лорд... слышите? Бегите и постарайтесь привести врача как можно скорее.

Через пять минут слуга вернулся с доктором, маленьким гладким человечком, от которого немного пахло чесноком, но который, по словам портье, был «умен, как черт».

Он осмотрел Рекса, после чего его суровое лицо стало еще сумрачнее; в конце концов, он взял шприц и сделал больному впрыскивание.

– Я уезжаю вечером с парижским экспрессом, – заявил Рекс, как только боль его немного успокоилась, – если для вас это возможно, я был бы очень рад, если бы вы проводили меня до Парижа.

Доктор посмотрел на него, и его рот задрожал от негодования.

– Вы не поедете, – безапелляционно сказал он.

Рекс нахмурился.

– Ну, нет! А вы едете или отказываетесь?

– Поймите, что вы будете чувствовать каждый метр дороги. Вам нужен полный покой, вам совершенно нельзя двигаться.

– Я поеду.

– Вы можете считать себя храбрым мужчиной, но я буду еще храбрее, если поеду с вами, – мрачно сказал доктор.

Но он был беден и отлично понимал, что этот англичанин богат; у всех англичан, по его мнению, было четыре свойства: они были богаты, упрямы, надменны и лишены религиозности.

Вдвоем с Мартином он внес Рекса в спальный вагон и сел рядом с ним.

Усталые глаза Рекса были устремлены на небо; морфий не затемнял его рассудка и не усыплял его.

Перед отъездом он известил Дору и Тони, что уезжает с ночным экспрессом, и это было все.

Теперь, лежа в вагоне, он испытывал только боль и некоторую радость при воспоминании о том, что он побил Саварди.

В Париже он простился с испанцем и послал за своим знакомым – молодым французским врачом, который учился с ним в Оксфорде и очень увлекался своей наукой. Тот забинтовал Рекса и перевез его в свой дом, где он развлекал его беседами о своих любовных похождениях, о своей работе и науке.

Рекс вытерпел у него неделю, а потом, забинтованный как мумия, уехал в Лондон, провожаемый самыми отборными французскими ругательствами его друга, возмущенного его легкомыслием.

Рекс любил свой лондонский дом. Ему нравилась прохлада его больших, уставленных темной мебелью комнат. Ему приятно было сознавать, что все здесь дышит строгим покоем страны, и это успокаивало его душевные страдания.

Спальня его выходила на Грин-парк, теперь мирное убежище гуляющих, и он подолгу лежал и смотрел, как падали первые листья по мере того, как солнце сушило их своими поцелуями. Глядя на прохожих, он думал, как это часто бывает с теми, кто чувствует себя несчастным, – кто из этих проходящих людей весел и кто горюет, какая трагедия или, наоборот, какое счастье коснулось их жизни.

В это время он не чувствовал себя одиноким или, вернее, не замечал своего одиночества. Постоянная боль страшно его изнуряла, и настроение его было подавлено серьезными отзывами врачей о его ушибленном боку. Он был слишком измучен и угнетен, чтобы думать о том, кто есть около него и кого нет.

Но когда в один прекрасный день каким-то чудом появилась в его комнате Джи, он сразу почувствовал, что ему все время недоставало ее.

Она была в черном платье, усеянном розами; веселенький зонтик, также черный с розами, заменил палку из черного дерева. К корсажу были приколоты живые розы. От нее пахло ее обычными духами, которые Рекс так любил еще мальчиком.

Она остановилась около его кровати и улыбнулась ему.

– Хорошо, хорошо! – сказала она ему тем ласковым голосом, которым женщины утешают детей, когда они ушибутся.

– Как вы узнали, что я вернулся? – сказал Рекс.

– Я встретила в саду сэра Кэйта, и он рассказал мне все, исключая подробностей, которые ты сам мне расскажешь позднее.

Постаревшая Суит вошла, со своим всегдашним похоронным видом, чтобы привести в порядок вещи своей хозяйки и попутно чтобы получить удовольствие выразить свое соболезнование Рексу.

– Какой у вас плохой вид, сэр, – мрачно сказала она, – прямо тенью стали, если позволите так выразиться. Доктор, верно, сказал, что это у вас надолго?

– На годы, Суит, дорогая, – ответил Рекс, – если вообще мне удастся поправиться.

Суит пробормотала что-то благочестивое, вроде: «Кто дал, тот и взял», а потом распространилась о болезни, которой, подобно Рексу, страдал ее родственник; болезнь эта была такая серьезная, что в ней заключались все известные до этого времени недуги, и тем не менее он дожил до преклонных лет и умер, когда пришел его черед.

– Приятная перспектива, – закончил Рекс, которого очень забавляла Суит.

Он уже чувствовал себя совсем иначе, так обрадовал его приезд Джи.

Одно ее присутствие, духи, которые она употребляла, ее тихий, но выразительный голос, а также умение сообщить комнате свой особый личный отпечаток – способность, данная очень немногим, – все это создавало приятную, радостную атмосферу.

Он забыл про свой бок, про Мадрид, про то, как бесконечно тянутся дни.

Вошел Мартин с улыбкой на лице. Рекс был так удручен, что забыл про цветы, и вдруг они появились, как бы по волшебству; к чаю был подан вкусный кекс.

Джи, которую приводили в отчаяние бледность и очевидная слабость Рекса, решила остаться в городе на неопределенное время; она отправила Суит в Пойнтере с распоряжением вернуться с первым поездом и привезти терьера Ника, а также все необходимые вещи. Она прошла в свою комнату, которую занимала, когда была еще барышней, и прилегла отдохнуть.

Естественно, она сгорала от любопытства узнать причину болезни Рекса и его внезапного отъезда из Мадрида. Годы пощадили ее в том отношении, что старость несколько не ослабила ее умственных способностей, а только научила ее философии; но философия редко уживается с любовью, а любовь Джи к Рексу была главным двигателем ее жизни. Она проклинала появление Доры в их семье, так как из-за нее страдал Рекс. Ей пришел на память ноябрьский вечер много лет назад, когда она впервые заметила, что Рекс обратил внимание на красоту Доры. Тогда она предугадала, что может от этого произойти, но надеялась, что постоянная совместная жизнь, создающая дружескую близость, предохранит Рекса от увлечения.

Теперь она должна была признаться себе, что не учла того, как часто мужчина начинает любить женщину только после того, как другой мужчина обратит на нее внимание, полюбит ее и силой своей любви как бы привлечет к ней любовь другого. Если бы Пан не полюбил Дору, очень может быть, что Рекс тоже не влюбился бы в нее; она явилась ему тогда в каком-то новом свете, без чего, вероятно, она продолжала бы быть ему самым дорогим другом, и не более.

Но раз это случилось, жалеть теперь уже поздно. Лежа в своей комнате, которая когда-то

была свидетельницей вихря, промчавшегося в ее жизни, она незаметно стала думать о собственной молодости.

Говорят, что старики все забывают и потому не способны на сочувствие, а между тем страдания, которые она пережила в те летние месяцы, много лет назад, когда, как и Дора, она полюбила ничего не стоящего человека, вспоминались ей так ярко, точно все это было вчера.

Нет, старость ничего не забывает, а когда она любит – она лишь вновь страдает через страдание того, кого любит.

Память о ее собственной печали научила ее понимать горе Рекса.

Она пообедала с ним в комнате, после чего они остались сидеть в темноте, освещенные только слабым отсветом фонарей из парка.

Деревья тихо шелестели, как бы радуясь, что прошел дневной зной. Внизу раздались шаги, и вбежал Ник, привезенный упрямой, но проворной Суит. Он вскочил на кровать к Рексу и улегся, уткнувшись в его руку.

– Все это было ужасно, – неожиданно сказал Рекс, затягиваясь сигаретой. – Я сделал ужасную ошибку, что поехал.

И он рассказал Джи все подробности, какие только мог вспомнить.

– Саварди – тип циркового борца. Он берет своей силой. Дора не любит его; он вошел в ее жизнь, когда она переживала период сомнений и колебаний. Она испытала так много в такой короткий срок, что будущее не сулило ей ничего яркого. И нельзя сказать, чтобы она вполне подходила для сцены; она была слишком натуральна в роли, которую ей пришлось играть в жизни, чтобы быть самой собой в искусственной роли. Ей все чего-то хочется, и она сама не уверена – чего именно. В общем, вероятно, того, чего желает каждый из нас, – сочувствия. Ей хочется продолжать свою деятельность и вместе с тем иметь более определенное положение в обществе. Она-то сама, по всей вероятности, с этим не согласилась бы. Может быть, она действительно не сознает этого, но что ей нужно, это такой муж, как я, то есть человек, который позволит ей поступать по ее желанию и сохранит в то же время свою независимость, отдаст ей свое сердце и возьмет ее. Это редко осуществляется, и я могу казаться самонадеянным глупцом, но я способен на это. Если посвятить себя всецело одной женщине, можно понять, как нужно обращаться с ней. Я посвятил себя всецело Доре, и ни одна другая женщина никогда не пробудила во мне намека на чувство. Я не истратил себя на других не потому, что считал это добродетелью, а просто потому, что я был всецело захвачен Дорой и все мое существо сосредоточилось на ней. Я мог бы дать ей ту жизнь, которую она хочет. Саварди возьмет ее и через год потеряет; он добивается ее только потому, что она его не хочет. Ему сейчас уже надоели ее требования свободы и ее совершенно непонятный ему взгляд на права и обязанности будущих супругов. Его характерные черты – широкий размах, избалованность, ханжество и эгоизм. Вначале он надеялся сделать Дору своей любовницей; он попросил ее руки только тогда, когда убедился, что случай в лице неожиданно явившегося отца дал ей лучшие карты в руки. Когда я узнал это, я поколотил его почти публично.

– Так вот причина, – сдержанно сказала Джи; ей хотелось взять его голову, прижать ее к своему сердцу и сказать своему любимцу, что она гордится им; но они никогда не любили обнаруживать свои чувства. «А теперь начинать уже поздно – во всех отношениях», – подумала с улыбкой Джи, когда часы пробили двенадцать.

После долгой паузы Рекс сказал:

– Конечно, Дора ничего не знает ни о первоначальных намерениях Саварди, ни о нашей схватке.

– Так, значит, она выйдет за него?

– О да. Вероятно, они уже обвенчались.

Он заерзал на своей подушке, и Ник теснее прижался к нему.

– Джи, как трудно вообразить себе пустую жизнь! Я так жажду Доры, что не могу себе представить жизнь без нее. Казалось бы, что любовь должна идти навстречу такой любви, как моя, чтобы составить целое, но почему-то так не бывает. Замужней женщиной она будет для меня все той же. Некоторые уверяют, что если любимая женщина выйдет замуж, то для них это то же, как если бы она умерла, но я этого не чувствую.

Мертвая. Когда она дышит, и смеется, и движется и вы каждую минуту можете увидеть ее! Если бы она была мертва, тогда наступил бы покой, но какой же может быть покой, когда другой мужчина живет и занимает ваше место. О, как я желал бы, чтобы я убил Саварди и сам заплатил за это!

Голос его умолк, как замирает и обращается в пепел блестящий огненный язык; только что воздух трепетал от его страсти, а теперь осталась полная пустота. Джи поняла, что ей нечего сказать ему. Она не могла себе представить, чтобы он мог так любить. Она предполагала, что он любит тихой, терпеливой любовью, а оказывалось, что под наружным спокойствием, которое достигалось редким самообладанием, пылало, как раскаленный уголь, обожание, соединенное, как это бывает, с первобытными инстинктами.

Почти невозможно было представить себе, что он поборол Саварди, и еще труднее было признать вполне искренним его восклицание: «Я желал бы, чтобы я убил Саварди и сам заплатил за это».

– О дорогой мой! – с глубокой тоской сказала Джи.

Рекс отрывисто рассмеялся, как бы желая рассеять тяжелое впечатление от своих последних слов.

– Ну, ничего, ничего, – быстро сказал он. Они заговорили о другом, но, когда Джи ушла в свою комнату, она тщетно старалась избавиться от нахлынувшего на нее чувства подавленности. Вся жизнь как бы опустела и стала пеплом в тот миг, когда умолк голос Рекса и молчание окутало их пеленой.

Саварди очень обрадовался, узнав, что Рекс уехал. В особенности он был доволен тем, что Рекс перед отъездом никому ничего не сказал.

Он был вполне уверен, что Рекс не станет болтать, – настолько молодой англичанин успел внушить ему уважение к себе. Но все-таки прирожденная хитрость нашептывала ему, что никогда нельзя вполне доверять своему сопернику. Он ненавидел Рекса за то, что тот побил его, а также за его любовь к Доре, но все-таки уважал его умение молчать.

Он не мог понять, что Рекс уехал потому, что любовь его была сильнее его ненависти и что его забота об обожаемой им женщине была еще сильнее его любви. Такая любовь не была знакома Саварди.

Он рано пошел к Доре, желая поскорее узнать истину, так как предпочитал открыто страдать, чем находиться в неизвестности. Придя к ней, он с первых слов понял, что она ничего не знает о его вчерашнем поражении.

Дора сказала ему, что Рекс неожиданно уехал, на что он промолчал, так как считал, что лжи нужно избегать и по возможности лучше совсем не лгать, если не принудят к тому обстоятельства.

Он обнял Дору, поцеловал ее и отдал ей принесенный подарок, который в душе, может быть, считал отчасти искуплением за случившееся накануне.

Это была роскошная мантилья, на которой был выткан фамильный герб его семьи; Саварди объяснил, что в ней всегда крестили старшую дочь старшего в роде сына. Поговорив о мантилье, он постепенно перешел к вопросу, который больше всего его интересовал, и стал умолять Дору назначить день свадьбы. Как нарочно, в эту минуту с шумом влетел Аверадо, размахивая только что полученным им из Лондона контрактом; вид у него был торжествующий.

Конечно, время для его сообщения было не совсем подходящее. Саварди нахмурился; подбитое лицо его потемнело, и он разразился целым потоком негодующих слов.

Аверадо спокойно выслушал его, поклонился и вышел, выразительно взглянув на Дору.

Как только дверь за ним закрылась, Саварди схватил ее в свои объятия.

– *Madré de Dios*, неужели вы забываете, что я тоже что-то чувствую? Неужели вам нет дела до того, как я страдаю? Я жду и жду вашего слова, а вы его не даете. Какой-то антрепренеришка предлагает вам контракт, и вы тотчас согласны его подписать, нисколько не заботясь о том, когда будет наша свадьба. Вы не можете, не должны так поступать. Это невозможно, говорю вам, невозможно!

Его синие глаза сузились от гнева, и рог дрожал. Он выпустил ее и быстро продолжал:

– Я люблю вас, я люблю вас. Вы моя нареченная жена; все, что у меня есть, я отдам вам взамен вашей сценической карьеры, от которой вы должны отказаться. Боже, что же это будет за жизнь, если вы вечно будете петь!

Внезапно он бросился к ее ногам; в устремленном на нее взгляде была мольба, обожание, даже робость.

Неужели она так мало любит его, так мало ценит его любовь, чтобы пожертвовать ею ради кулис? О, он обожает ее, как святую, как священное пламя...

– Дотроньтесь здесь, дотроньтесь...

Он прижал ее руку к своему сердцу, которое бешено билось под тонкой шелковой рубашкой.

После целой бури поцелуев, просьб, отчаяния, печали и обожания он, наконец, ушел.

«Мне надо на что-нибудь решиться», – печально сказала себе Дора и опять почувствовала,

что ей недостает поддержки Рекса, с его спокойным, беспристрастным ко всему отношением.

Надо выбрать что-нибудь одно: или сцену, или замужество. Если только сцену, что тогда? Тогда у нее будет только ее карьера. А если замужество? О да, чувствовать нежную привязанность, принадлежать кому-нибудь, иметь кого-нибудь, с кем смеяться, делить жизнь...

Но разве Саварди хочет хоть немного делить с ней жизнь?

«Я хочу невозможного, – откровенно призналась она себе, – человека, который сделал бы меня своей и вместе с тем оставил бы мне свободу».

Неожиданно в конце сезона, в самый разгар обсуждения планов на будущее, Тони заболел малярией, которая была его давнишним врагом; доктора предписали ему немедленно возвратиться в Лондон.

Саварди, втайне взбешенный, принужден был, выразив свои соболезнования, согласиться на то, чтобы Дора его сопровождала.

Тони не допускал и мысли, чтобы она не поехала: у него с Саварди было одно общее качество – оба были изрядные эгоисты.

Аверадо тоже отправился в Лондон, взяв на себя роль Иоанна Предтечи, которую он особенно успешно исполнял на железнодорожных станциях и в вагоне-ресторане.

Саварди расстался с ними в Париже. Впоследствии он должен был приехать за Дорой. Он стоял с непокрытой головой на платформе темного некрасивого вокзала Gare du Nord, улыбался Доре и имел в этот момент очень молодой и самоуверенный вид. Руки их соединились, Саварди вздохнул с чисто испанским чувством, и в то же время глаза его блеснули, встретившись с глазами очень хорошенькой особы, направляющейся к выходу.

– Каждую минуту до нашей встречи я буду думать только о вас, – сказал он Доре; поезд уже двигался и заглушил своим шумом его слова.

Саварди повернулся и быстро пошел прочь. Дора продолжала смотреть на него и почувствовала, что все впечатление, которое он производил на нее, исчезло; в этот миг он показался ей просто красивым молодым человеком, ищущим приключений.

Разлука, как это часто случается, вызвала реакцию.

Путешествие началось, и приятно было сознавать, что хоть на некоторое время можно будет отдохнуть от нежных прощаний, клятв и обожания.

«Я несносна, – печально твердила себе Дора, – я принимаю без благодарности, хочу сама не знаю чего и все время недовольна тем, что меня не понимают...»

Всю дорогу она испытывала чувство томительной пустоты.

Чтобы подбодриться, она попробовала объяснить себе свое состояние переутомлением, но это ее не удовлетворило и не помогло ей сбросить с себя апатию.

Даже Лондон не расшевелил ее. «Стафффорд-отель», где Тони решил провести ночь, был столь же внушителен, как и всегда; тот же жаркий туман стоял на сумрачных улицах, как и тогда, в то, другое лето...

– Я рано лягу, – объявил Тони. – Я думаю, и ты недолго засидишься?

– Я, пожалуй, еще немного посижу, – ответила Дора.

Она пододвинула кресло к окну и села, откинувшись назад и смотря на звезды.

Завтра Гарстпойнт и Рекс...

Что-то делает теперь Саварди?

Догнал ли он хорошенькую девушку с дугообразными бровями?

Как легко многие женщины связывают себя словом и смотрят на это как на самую простую вещь. Они поступают так или из жажды победы, или же их побуждает к тому другое, на первый взгляд доброе чувство, а именно боязнь причинить боль своим отказом; на самом же деле, если присмотреться ближе, окажется, что в основе этого чувства лежит самое обыкновенное

тщеславие.

Дора предполагала, что они с Саварди «поладят».

Каким пустым и случайным казалось все в жизни; она взяла то, что ей подвернулось, только потому, что это было близко.

Она закинула руки за голову.

Неужели в ней сгорело все до последней искорки после смерти Пана?

Лондон живо напомнил ей его, и это воспоминание, расшевелив глубоко затаенную в ней боль, наваяло на нее чувство жуткого одиночества; любовь Саварди коснулась ее лишь поверхностно, но открыла путь другому, глубоко похороненному в ней чувству.

О, еще раз, еще раз, хотя на миг, испытать это сладкое упоение, которое она знала раньше! Опять быть для кого-нибудь всем, дороже всего на свете...

Ведь Саварди женится на ней только потому, что не мог овладеть ею иным путем... женится после неудавшейся попытки избежать этих уз.

Она горько усмехнулась, глядя в звездную ночь. Она была настолько современна, так мирилась со всем, что могла даже улыбаться.

«О Боже, как мы во власти мелочей!» – с грустью сказала она себе.

Пустота жизни толкнула ее поощрить Саварди, и только слабость характера мешала ей порвать с ним.

Сегодня жизнь казалась ей исчерпанной; она чувствовала, точно стоит и смотрит на праздник, куда ей запрещен вход...

Кто-то постучался в дверь. Вошел слуга Тони и положил на стол вечерние газеты. Она спросила, лег ли Тони, пожелала слуге спокойной ночи и, когда дверь за ним закрылась, подошла к столу и развернула газету.

Маленькая заметка бросилась ей в глаза. Она увидела в заголовке имя Рекса, а под ним было напечатано, что он лежит, опасно больной, в своем доме в Сент-Джемсе, и добавлялось, что болезнь его явилась последствием дуэли. Затем следовало описание дома. Дора стала машинально читать и заметила вкравшуюся ошибку: репортер сообщал, будто итальянские фрески находятся в белой гостиной, что было неверно. Газета выпала из ее рук. Она неподвижно сидела в ярко освещенной комнате, и ей казалось, что она видит перед собой Рекса; Рекса, сначала улыбающегося, потом огорченного и ставшего вдруг серьезным. Ей вспомнились все его малейшие привычки – манера, с которой он приглаживал свои густые светлые волосы; поза, которую он принимал, сидя в глубоком кресле...

За окнами шумно бился пульс лондонской жизни; где-то в отеле хлопнула дверь. Этот резкий звук пробудил Дору от ее оцепенения. Она положила руку себе на горло, стараясь остановить свое учащенное дыхание. «Опасно болен»...

Так пишут только тогда, когда нет надежды. Это означает, что человек умирает...

Она представила себе Рекса мертвым – Рекса, который так любил жизнь. Рекс, с его добродушным юмором, дерущийся на дуэли! Она вспомнила день его отъезда, тайну, которой он окружил этот отъезд, его коротенькую прощальную записку, потом – вспухшее лицо и неподвижную руку Саварди, и все эти подробности сразу показались ей связанными между собой.

Она вскрикнула и закрыла себе рот сжатой в кулак рукой.

В этот миг она ненавидела Саварди. Своим поведением он оскорбил Рекса, довел его до этого, а потому всем своим существом, всей своей нежностью она стремилась защитить Рекса.

Было одиннадцать часов, когда она достигла Гревиль-хауза. Дверь была не заперта, у подъезда стоял автомобиль. Дора вошла и встретила Рекса, который, прихрамывая, выходил из библиотеки.

Она протянула к нему руки, он схватил одну из них и крепко сжал в своих.

– Неужели ты? – сдавленным голосом пробормотал он. – Какой счастливый ветер занес тебя сюда?

Дора взглянула на него и, заикаясь, едва слышно сказала:

– Газеты... в газетах сказано...

– Это «утка»! – перебил ее Рекс; его бледное лицо вспыхнуло ярким румянцем. – Надеюсь, ты не поверила этому. – Он попытался рассмеяться: – Джи показала мне за обедом эту заметку. Это ужасно; я уже послал опровержение. Безобразие, как эти репортеры лгут...

Он говорил только для того, чтобы немного прийти в себя; после болезни он был очень слаб. Дора глухо сказала:

– Это ничего – я говорю про ложь в газете. Ты здесь, жив... здоров...

Ее смущенные глаза жалобно остановились на нем.

– Дора, – ласково сказал он, – дорогая моя, все благополучно. Конечно, это поразило тебя. Но как... зачем ты пришла, одна, так поздно?

Она улыбнулась ему сквозь набежавшие слезы.

– Я узнала правду... так поздно, – прошептала она.

В ее глазах и голосе было то, что редко удается видеть и слышать мужчине.

Рекс задрожал... Эта надежда после отчаяния... он заставил себя отвергнуть ее; он не смел верить, не смел понимать!

Раздались шаги. Инстинктивно, желая остаться одни, они вошли в библиотеку и закрыли за собой дверь.

Здесь было темно; окна были открыты в маленький, находившийся при доме сад; слабый ветерок колебал тяжелые драпировки.

Дора воскликнула с отчаянием в голосе:

– Зачем ты дрался? От того ли, что ты... ты знал?

– Я дрался потому, что ненавидел Саварди, – горячо заговорил Рекс. – Я ненавидел его за то, что он любил тебя. Никто не может любить своего счастливого соперника. Он может уважать его, если он считает его достойным человеком. Я знал, что Саварди негодяй, и он стоял мне поперек дороги; я жаждал подраться с ним, и я рад, что сделал это.

– Но я... я приняла его любовь такой, какой она была, сознательно, – пробормотала Дора. – Я... ты должен знать это... и... я не знаю, как объяснить...

– И не нужно, – спокойно сказал Рекс. – Я давно знал. Я понял. Когда любишь, то понимаешь.

Она близко подошла к нему.

– Я поняла, когда прочла, что ты болен, Рекс. Тогда я узнала... Точно кто-то освободил меня от меня самой, порвал путы, сковывавшие мои шаги. Помнишь тогда, в Париже, ты поцеловал меня и сказал, что я вспомню? Вот сегодня я вспомнила...

Он обнял ее, едва касаясь ее рукой, и все-таки всем существом своим она чувствовала это прикосновение.

Нежно держа ее в своих объятиях, он сказал:

– Я понимаю тебя... всегда... – Голос его стал нетвердым, очень юным, и в нем звучал сдерживаемый пыл: – Дора, это правда? Ты в самом деле любишь?

Он все еще медлил с поцелуем. Он как будто чего-то еще ждал, и она поняла, что он ждет потому, что хочет продлить это незабвенное мгновение.

Вдруг он по-детски быстро вздохнул и прошептал ее имя.

Она высвободила свою руку и притянула к себе его голову.

– О да, да! – прошептала она, прижавшись губами к его губам. – Это в самом деле, это



правда, мой любимый. Я чувствую, что мое сердце, наконец, найдет покой... в твоём!